

ЛЮДМИЛА КРАГЕЛЬ

ТАЙНА КРАСНОГО МОРЯ

ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

НЕ КАЖДОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ВОЗВРАЩАЕТ
ДОМОЙ...

Людмила Крагель

Тайна Красного моря

<https://litres.ru/74039326>

SelfPub; 2026

Аннотация

Милана Светлова приехала в Египет за морем и тишиной. Но с первого дня что-то идёт не так. Чужой взгляд преследует её среди пёстрой курортной толпы — тяжёлый, спокойный, древний. Старый торговец кланяется ей как богине и отдаёт амулет-скарабей, не взяв денег. А ночью снится вода и голос на языке, которого она не знает — но понимает каждое слово.

На пятый день, во время погружения на дно Красного моря, Милана касается золотого скарабея в расщелине скалы — и море исчезает.

Она приходит в себя в Древнем Египте, где её принимают за жрицу богини Хатхор, явившуюся из вод согласно древнему пророчеству. Здесь всё настоящее — жара, величие храмов и жестокость дворцовых интриг. И настоящий он — Хоремхеб, молодой военачальник, сын фараона, который не верит в пророчества, но верит в неё.

Между ними вспыхивает любовь — живая, невозможная, обречённая. Потому что Милана знает: она чужая в этом времени. И её возвращение домой может разрушить всё.

Но правда окажется глубже, чем она думала.

Содержание

Глава 1	5
«Гори оно всё синим пламенем, или как две подружки потеряли рассудок»	5
Глава 2	13
"Марко, море и необъяснимое"	13
Глава 3	21
«Культурный обмен, старый торговец и тот, кого нет»	21
Глава 4	31
«Четвёртый день, или Всё решается само"	31
Глава 5	38
"Там, где кончается небо"	38
Глава 6	46
"Нил, лотосы и полная растерянность"	46
Глава 7	54
"Три поколения ожидания и лицо на камне"	54
Глава 8	66
"Испытание"	66
Глава 9	74
«Фараон, золото и первый яд под улыбкой»	74
Глава 10	82
«Допрос, который превратился в правду»	82
Глава 11	90

«Иероглифы, ладан и привыкание к чужому небу»	90
Глава 12	97
«Когда страх обретает имя»	97
Глава 13	104
«Финики, которые не стоило есть»	104
Глава 14	113
"Живой"	113
Глава 15	122
«Рассвет, который нельзя остановить»	122
Глава 16	130
«То, о чём жрецы молчали три поколения»	130
Глава 17	140
«Когда враг выходит из тени»	140
Глава 18	149
"Равновесие"	149
Глава 19	159
"Ночь перед выбором"	159
Глава 20	167
«Точка, в которой всё решается»	167
Конец ознакомительного фрагмента.	177

Людмила Крагель

Тайна Красного моря

Глава 1

**«Гори оно всё синим пламенем, или
как две подруги потеряли рассудок»**



Последний звонок отзвенел в пятницу в час дня.

В час пятнадцать Милана Светлова сидела в учительской, смотрела в одну точку и не моргала. Перед ней стояла кружка с чаем, лежала стопка незаполненных журналов и записка от завуча: «Милана Сергеевна, не забудьте сдать годовые отчёты в трёх экземплярах, характеристики на выпускников, тематическое планирование на следующий год и ведомости по внеурочке».

Следующий год.

Милана взяла записку, аккуратно сложила её вчетверо, ещё раз вчетверо, и положила под кружку с холодным чаем. Это был её способ сказать миру всё, что она о нём думает, оставаясь при этом интеллигентным человеком.

За окном орали дети — счастливые, свободные, с шариками и мороженым. Милана смотрела на них с тихой белой завистью.

Дверь учительской распахнулась так, будто в неё въехали с разбегу.

— Милка! — Соня Громова стояла на пороге, растрёпанная, с телефоном в одной руке и кофтой в другой, с видом человека, только что получившего послание от высших сил. — Милка, не говори ничего. Просто слушай.

— Соня, я ничего не говорю.

— Египет, — сказала Соня. — Хургада. Вылет послезавтра. Горящий. Двадцать две тысячи с перелётом и всем

включено. Я уже почти нажала «купить».

Милана посмотрела на неё. Потом на записку под кружкой. Потом снова на Соню.

— Нажимай, — сказала она.

Соня нажала.

Следующие тридцать шесть часов Милана вспоминала потом как страшный сон с элементами производственной трагедии.

Выяснилось, что загранпаспорт лежит там, где она его «точно оставила» — то есть нигде. Он был найден поздно вечером в кармане зимнего пальто вместе с засохшей мандариновой долькой и чеком из супермаркета от ноября позапрошлого года. Выяснилось также, что купальник у Милы ровно один — практичный чёрный, ещё студенческих времён, — и что «ехать в Египет с одним купальником» Соня считала примерно тем же, что «выйти на сцену Большого театра в валенках».

Они поехали в торговый центр в десять вечера.

— Вот этот, — говорила Соня, кидая в корзину вещи с такой скоростью, будто магазин вот-вот закроется навсегда. — И вот этот. И сарафан. И шляпу. Мила, ну возьми шляпу, ты же в Египте, не в Урюпинске.

— Соня, я учитель литературы, а не блогер.

— Учителя литературы тоже имеют право на шляпу. Флорбер бы одобрил.

Милана взяла шляпу.

Крем от солнца они забыли. Вспомнили в аэропорту. Купили там же за втрое дороже. Соня сказала, что это называется «туристический налог на беспечность», и совершенно не расстроилась.

Самолёт вылетел по расписанию — что само по себе было маленьким чудом.

Соня уснула ещё на взлёте, уткнувшись в плечо Миланы и тихонько сопя с видом абсолютно довольного жизнью существа. Милана не спала. Она смотрела в иллюминатор на темноту внизу, на редкие огни где-то далеко, и чувствовала, как учебный год медленно, нехотя отпускает её — как будто кто-то разжимал кулак, в котором она просидела последние девять месяцев.

Тридцать два ребёнка. Двести семьдесят тетрадей в четверть. Родительские собрания, где на неё смотрели с тем особым выражением, которое можно описать как «вы, конечно, молодой специалист, но мой Артём — это особый случай». Методические объединения. Открытые уроки. Журналы в электронном виде и журналы в бумажном виде, и никто так и не объяснил, зачем оба одновременно.

Но сейчас — тихо. Только гул двигателей и сопящая Соня. Милана прикрыла глаза.

И почти сразу — как это бывает на границе сна — увидела воду. Очень синюю, очень прозрачную. И что-то золотое глубоко внизу, далеко, почти неразличимо — как искра.

Она открыла глаза.

За иллюминатором была ночь.

-Просто устала, — сказала она себе. Просто девять месяцев без нормального сна.

Хургада встретила их в половину шестого утра жарой, запахом моря и специй, гортанными объявлениями по громкой связи и пёстрой толпой, в которой смешались туристы двадцати национальностей с чемоданами всех цветов радуги.

Соня немедленно проснулась и сразу же вошла в режим, который Милана про себя называла «Соня-на-максимуме»: крутила головой на триста шестьдесят градусов, успевала читать таблички, фотографировать пальмы в кадках и одновременно тащить свой чемодан, громко рассуждая о том, хорошо ли кормят в их отеле.

Милана шла рядом и улыбалась.

Она не замечала, как на неё смотрят.

Она никогда не замечала — в этом было что-то обезоруживающее и немного невероятное, потому что не заметить Милану Светлову было примерно так же сложно, как не заметить солнце, которое вдруг зашло в комнату и остановилось посередине.

Она была высокой — не модельно-вызывающе, а легко, как будто так и надо. Тёмные волосы собраны наспех, несколько прядей выбились и падали вдоль щеки. Лицо — из тех, что не поддаются быстрому описанию: не кукольная красота журнальных обложек, а что-то живое, тёплое и одновременно неуловимое — как будто художник рисовал не с

натуры, а по памяти что-то очень важное. Глаза — серо-зелёные, с золотистыми искрами у зрачков, странного оттенка, который в разном освещении менялся, как цвет морской воды.

Но главным было не это.

Главным был свет — какой-то внутренний, необъяснимый, который она сама в себе не видела и в который не поверила бы, скажи ей кто-нибудь. Не кокетство, не игра — просто свечение, как у старых икон, когда долго смотришь. Мужчины чувствовали его раньше, чем успевали понять, что именно происходит. Они оборачивались — все: молодые и пожилые, женатые и нет, флиртующие и принципиально равнодушные к чужим женщинам. Оборачивались и смотрели — не нагло, не навязчиво, а так, как смотрят на что-то, о чём потом долго не могут вспомнить точно, но не могут и забыть.

Милана в это время, как правило, искала в сумке ключи или читала что-нибудь на ходу.

Сейчас она искала ваучер на трансфер.

— Нашла? — крикнула Соня из толпы.

— Ищу.

— Посмотри в кармане с молнией.

— Там крем от солнца.

— А в боковом?

— Там паспорт и мандариновая долька.

— Какая долька?!

— Долгая история, — сказала Милана и наконец извлекла

ваучер из-под блокнота с конспектами уроков, который она, по вьёвшейся привычке, взяла даже в отпуск.

Соня посмотрела на блокнот с выражением человека, готового произнести педагогическую речь.

— Не начинай, — сказала Милана.

— Я молчу, — сказала Соня. — Я просто смотрю.

— Это хуже.

Автобус до отеля ехал вдоль моря.

Милана прислонилась лбом к стеклу и смотрела на воду. Красное море в ранних утренних лучах было неправдоподобно синим — почти нереальным, слишком насыщенным, как будто кто-то выкрутил яркость на максимум. Вдоль берега тянулись отели, пальмы, припаркованные где попало мотороллеры.

Хорошо, подумала Милана. Просто хорошо. Две недели. Море. Никаких журналов.

Она закрыла глаза.

И снова — на долю секунды — почувствовала что-то. Не увидела, не услышала. Просто ощущение: чей-то взгляд. Тяжёлый, внимательный, очень спокойный — не взгляд туриста в автобусе. Что-то другое. Что-то, у чего нет имени.

Она открыла глаза и обернулась.

Сзади дремал пожилой немец с панамой на лице. Рядом с ним — молодая пара с одинаковыми рюкзаками. Больше никого.

— Ты чего? — спросила Соня.

— Ничего, — сказала Милана. — Показалось.
За окном сияло море.

Глава 2

"Марко, море и необъяснимое"



Отель оказался именно таким, каким бывают египетские отели категории «всё включено» — то есть громким, пёстрым, неумеренно украшенным пальмами в кадках и работниками ресепшена с улыбками такой профессиональной лучезарности, что хотелось носить солнечные очки в помеще-

нии.

Номер был большой, с балконом и видом на море.

Соня вышла на балкон, посмотрела на бирюзовую полосу воды на горизонте, глубоко вдохнула тёплый солёный воздух — и сказала:

— Милка. Я приняла решение.

— Какое? — Милана разбирала чемодан.

— Я не думаю об учениках две недели. Вообще. Если мне приснится Дима Козлов с его невыученным стихотворением — я встану, выпью воды и скажу себе: ты в Египте, Козлова нет, всё хорошо.

— Разумно.

— И ты тоже не думаешь.

— Я не думаю.

— У тебя в чемодане конспекты.

Пауза.

— Это на всякий случай, — сказала Милана.

Соня закрыла глаза с видом человека, которому выпало тяжёлое испытание.

Первый день прошёл в блаженном ничегонеделании, которое поначалу давалось с трудом — как всегда бывает, когда человек, девять месяцев живший в режиме «срочно-важно-вчера», вдруг оказывается в шезлонге с коктейлем и обнаруживает, что делать совершенно нечего и это, оказывается, и есть цель.

Милана лежала у бассейна, смотрела в небо — синее, без

единого облака, безмятежное, как чистая страница — и постепенно чувствовала, как где-то внутри разжимается какая-то очень давно сжатая пружина. Хорошо. Тихо. Тепло.

Соня исчезла в направлении бара и вернулась с двумя яркими коктейлями и новостью.

— В соседнем номере итальянцы, — сообщила она, вручая Милане стакан с чем-то оранжевым и садясь рядом с видом человека, у которого уже есть план. — Я слышала через стену. Точно итальянцы. Я узнала итальянский.

— Ты не знаешь итальянский.

— Я знаю, что это итальянский. Это разные вещи.

Милана отпила коктейль. Он был сладким, холодным и вызывающе безответственным — именно таким, каким должен быть первый коктейль отпуска.

— Соня, — сказала она, — мы приехали отдыхать.

— Я и отдыхаю, — невозмутимо ответила Соня. — Просто в процессе изучаю культурный контекст.

Марко Риццо появился на следующее утро у шведского стола с видом человека, для которого завтрак — это ритуал, требующий полной концентрации.

Это был классический итальянец с рекламной открытки: высокий, смуглый, с тёмными кудрями, в белой льняной рубашке, с руками, привыкшими что-то объяснять в воздухе.

Лет тридцати двух. Улыбка — широкая, немного удивлённая, как будто мир ежедневно преподносил ему что-то восхитительное и он каждый раз искренне радовался.

Соня увидела его от входа в ресторан.

Остановилась.

Взяла тарелку.

Подошла к стойке с круассанами, которая находилась ровно рядом с тем местом, где он раздумывал над омлетом.

— Buongiorno, — сказала Соня с ударением на первый слог.

Марко поднял глаза, увидел её и улыбнулся так, как улыбаются люди, которым жизнь нравится в принципе.

— Buongiorno! — ответил он с ударением на второй, как и положено. — Sei russa?

Соня посмотрела на него.

Он посмотрел на неё.

— Да, — сказала Соня по-русски. — Русская. Из Омска.

— Omsk! — обрадовался Марко так искренне, будто Омск был его любимым городом. — Bellissimo!

Он явно понятия не имел, где находится Омск. Но это не имело ни малейшего значения.

Соня взяла круассан, который не собиралась брать, Марко взял омлет, который уже взял, и они разошлись в разные стороны с видом двух людей, которые только что договорились о чём-то важном, хотя не сказали друг другу ничего конкретного.

Милана наблюдала эту сцену от столика у окна.

— Ну? — спросила она, когда Соня вернулась с круассаном и совершенно другим выражением лица.

— Он архитектор, — сообщила Соня.

— Ты это поняла за тридцать секунд?

— Нет, я это зауглила пока шла. Он вчера у бассейна что-то чертил в блокноте, я подсмотрела.

— Соня.

— Что? Я просто внимательная.

День второй прошёл по следующей программе: Милана читала у моря, Соня «случайно» оказывалась там, где был Марко, примерно каждые сорок минут.

У бассейна они столкнулись у лежаков. Марко что-то сказал по-итальянски и показал на воду. Соня кивнула. Оба засмеялись. Над чем — неизвестно.

В баре он взял апероль, она взяла то же самое, попробовала, скривилась. Он засмеялся, взял её стакан, попробовал, добавил что-то из маленькой бутылочки, вернул. Она попробовала снова. Подняла большой палец. Он расцвёл.

Весь этот роман происходил практически без единого понятного слова.

Вечером Соня сидела на балконе с телефоном и осваивала дуолинго — итальянский, разумеется.

— «Io mi chiamo Sonya», — произносила она вполголоса.
— «No ventotto anni». Мил, как по-итальянски «ты невероятно красивый»?

— Не знаю, — отозвалась Милана из комнаты.

— Гугл говорит «sei incredibilmente bello». Как думаешь, не слишком прямолинейно?

— Соня, вы не можете поговорить нормально.

— Нормально — это скучно. — Соня помолчала. — Sei incredibilmente bello, — повторила она задумчиво, как будто пробовала слова на вкус. — Звучит красиво, правда? Даже если он не поймёт — звучит красиво.

Милана вышла на балкон и встала рядом.

Внизу синело море — вечернее, тёмное, с золотой дорожкой от фонарей вдоль набережной. Тёплый ветер. Где-то в ресторане тихо играла музыка.

Хорошо, снова подумала Милана. Просто хорошо.

И вот тогда — она увидела его.

Он стоял у края набережной, там, где заканчивался свет фонарей и начинался сумрак. Чуть в стороне от гуляющих туристов — как будто намеренно, как будто толпа была не его стихией. Тёмные волосы, лёгкая белая рубашка, смуглая кожа. Он не смотрел на море.

Он смотрел вверх. На балкон. На неё.

Не нагло — в этом взгляде не было ничего курортно-охотничьего, ничего пошлого. Просто смотрел. Спокойно и очень внимательно — как смотрят на что-то, что наконец-то нашли после долгих поисков.

Милана замерла.

Что-то в этом взгляде было неправильным. Не пугающим — нет. Просто... не отсюда. Как будто этот человек существовал в другом времени и только по какой-то причине оказался здесь, на этой набережной, в этот вечер.

— Мил, ты чего застыла? — Соня подняла голову от телефона.

— Вон там, — тихо сказала Милана. — У фонаря. Видишь мужчину?

Соня посмотрела.

— Где? Там старичок с собачкой и две тётки с мороженым.

Милана снова посмотрела вниз.

Набережная. Фонари. Старичок с собачкой. Две женщины с мороженым.

Никого больше.

— Показалось, — сказала она.

Но голос получился не совсем уверенным.

Ночью ей приснилась вода.

Очень синяя, очень прозрачная — такая, что сквозь неё было видно дно, выложенное чем-то золотым. Она плыла вниз — не падала, именно плыла, легко и без усилий, — и откуда-то снизу шёл свет. Тёплый, живой, как от огня.

И голос — низкий, спокойный, на языке, которого она не знала и понимала каждое слово:

«Ты пришла».

Милана проснулась в четыре утра.

За окном шумело море.

Она долго лежала и смотрела в потолок, и сердце билось чуть быстрее, чем нужно, и было ощущение — совершенно иррациональное, — что кто-то только что произнёс её имя.

-Показалось, — снова сказала она себе.

Перевернулась на другой бок.

Закрыла глаза.

Море шумело и шумело за окном — ровно, терпеливо, как будто оно никуда не торопилось. Как будто оно ждало.

Глава 3

«Культурный обмен, старый торговец и тот, кого нет»



На третий день Соня окончательно освоила дуолинго до уровня «могу сказать, что у меня есть яблоко и я иду в биб-

блиотеку» и решила, что этого вполне достаточно для полноценного романа.

— Языковой барьер — это миф, — заявила она за завтраком, намазывая круассан джемом с видом человека, сделавшего важное научное открытие. — Главное — интонация и уверенность.

— И что ты ему сказала с интонацией и уверенностью? — спросила Милана.

— Я сказала «*buongiorno, come stai*» и он ответил целых три предложения. Я кивала.

— Ты поняла хоть слово?

Соня помолчала.

— Я поняла «*bene*». Это «хорошо». Он хорошо. Я хорошо. Мы оба хорошо. — Она откусила круассан. — Чем не диалог?

Милана посмотрела на неё с той смесью нежности и лёгкого отчаяния, которая за годы дружбы стала её основным выражением лица в присутствии Сони.

После завтрака Марко возник у бассейна с блокнотом и карандашом — он действительно что-то чертил, сосредоточенно и с удовольствием, как человек, у которого работа и призвание давно стали одним и тем же.

Соня появилась рядом с книгой — томик она взяла для вида, это было очевидно всем, включая, кажется, Марко.

Он показал ей блокнот. Там был набросок — что-то похожее на арку с орнаментом, лёгкое и воздушное.

— Bellissimo, — сказала Соня, применив на практике первое из выученных слов.

Марко расцвёл. Сказал что-то длинное, показал на отель, на небо, на орнамент, снова на небо.

Соня смотрела внимательно, кивала в нужных местах — или в ненужных, поди разбери — и достала телефон.

Гугл-переводчик. Она написала по-русски: «Ты очень талантливый» — и протянула ему экран.

Марко прочитал. Перевод гласил: «Вы очень одарённый» — что было в целом верно, хотя и несколько официально.

Он улыбнулся, взял телефон, написал что-то по-итальянски и показал Соне.

Переводчик выдал: «Твои волосы похожи на закат над Тосканой».

Соня уставилась в экран.

Потом подняла глаза на Марко.

Он смотрел на неё совершенно серьёзно — для итальянца, впрочем, это тоже могло быть просто вежливостью, кто знает.

— Милка, — позвала Соня, не отрывая взгляда от Марко.

Милана подняла голову от книги.

— Он говорит, мои волосы похожи на закат над Тосканой.

— Красиво.

— Это комплимент или он просто архитектор и смотрит на всё с точки зрения цвета?

— Соня, — сказала Милана терпеливо, — это компли-

мент.

Соня посмотрела на телефон. Потом написала что-то, старательно тыкая в буквы. Протянула Марко.

Он прочитал. На лице промелькнуло лёгкое замешательство — видимо, переводчик снова проявил творческую инициативу.

— Что ты написала? — спросила Милана.

— «Ты тоже очень красивый, как Рим». — Соня помолчала. — Переводчик, кажется, написал что-то про Колизей.

Марко засмеялся — громко, искренне, запрокинув голову. Соня засмеялась тоже. Они смеялись вместе над тем, что переводчик сравнил его с древними руинами, и это было, пожалуй, лучшим началом для чего угодно.

Милана улыбнулась и вернулась к книге.

После обеда они отправились на набережную — Соня хотела в сувенирные лавки, Милана хотела просто идти и смотреть, что само по себе было непозволительной роскошью в обычной жизни.

Набережная жила своей шумной, пёстрой, совершенно не озабоченной ничьим покоем жизнью. Торговцы зазывали с такой энергией, будто участвовали в соревновании. Запах специй мешался с запахом моря и кофе. Кошки — египетские, тощие и достойные — сидели на парапете и смотрели на всё происходящее с философским безразличием.

Соня немедленно ввязалась в торг за расписную вазу, которая ей была абсолютно не нужна.

— Сколько? — спросила она продавца.

— Для вас, мадам, специальная цена, — сказал продавец по-русски с таким акцентом, что слово «специальная» заняло, кажется, четыре секунды. — Восемьсот фунтов.

— Двести, — сказала Соня.

Продавец схватился за сердце.

— Мадам, это антиквариат!

— Я вижу штрих-код на дне.

Они сошлись на трёхстах пятидесяти. Соня была счастлива. Продавец тоже — просто не показывал вида.

Милана шла рядом и смотрела по сторонам, и всё было хорошо, солнечно и немного сонно от жары — пока они не дошли до маленькой лавки в конце ряда.

Лавка была старая — не туристически-декоративно старая, а по-настоящему: тёмное дерево полки, запах ладана и чего-то ещё, древнего, пыльного, неназываемого. На полках теснились статуэтки, амулеты, папирусы, фигурки богов — Анубис смотрел пустыми глазами, Хатхор улыбалась загадочно и чуть устало, как улыбаются те, кто знает слишком много.

Старик за прилавком дремал в кресле.

Лет ему было столько, что возраст уже не имел значения. Такие лица перестают меняться где-то после семидесяти и остаются просто очень старыми — как древние скалы, обточенные ветром.

Соня потянула Милану внутрь — её интересовали брас-

леты на крючках у входа.

Старик открыл глаза.

И посмотрел на Милану.

Милана этого почти не заметила — она разглядывала папирус с изображением ладьи Ра. Но старик смотрел, и что-то в этом взгляде было не таким, как у других. Он медленно выпрямился в кресле. Потом встал — с трудом, опираясь на подлокотник. И сказал что-то по-арабски — тихо, почти про себя.

— Что он говорит? — шепнула Соня, которая заметила.

— Не знаю, — так же тихо ответила Милана.

Старик вышел из-за прилавка. Подошёл к Милане — медленно, осторожно, как подходят к чему-то, во что боятся не поверить. Посмотрел на неё снизу вверх — он был маленький, высохший, с руками в прожилках, как старое дерево.

И вдруг — поклонился.

Не туристически, не вежливо. По-настоящему — низко, с закрытыми глазами.

— Хм, — сказала Соня.

Милана стояла растерянно.

— Простите, — сказала она по-русски, потом по-английски: — Sorry, I think you've confused me with someone.

Старик поднял голову. Посмотрел на неё долгим взглядом. Потом что-то сказал — и в этот раз одно слово было отчётливым, не арабским, а египетским, древним — Милана не знала этого языка, но слово почему-то отозвалось где-то

внутри, как струна.

Потом он повернулся, достал из-под прилавка что-то завёрнутое в ткань, протянул Милане.

Внутри был маленький амулет — голубой скарабей на тонкой цепочке, фаянс, старый.

Милана покачала головой.

— Нет, я не могу это принять, скажите сколько стоит и я куплю!

Старик сложил её руки вокруг амулета и сказал по-арабски что-то короткое и очень твёрдое. Потом добавил по-английски — медленно, с усилием, как человек, достающий слова из глубины:

— Not for sale. For you. You must take.

— Почему? — спросила Милана.

Он посмотрел на неё.

— Because you are already called, — сказал он тихо. — Long ago.

Пауза.

— Мил, — сказала Соня шёпотом, — мне немного не по себе.

— Мне тоже, — призналась Милана.

Они вышли на солнце. Милана сжимала амулет в кулаке — прохладный, гладкий, с тонким рисунком крыльев. Она хотела выбросить, вернуть, отдать первому встречному. Но пальцы не разжимались.

Незнакомца она увидела через час.

Они с Соней сидели в кафе на набережной — пили холодный кофе, Соня рассказывала про Марко и переводчик, и это было смешно и хорошо, и Милана уже почти забыла про старика.

Почти.

Она подняла глаза — просто так, без причины — и увидела его по другую сторону улицы.

Он стоял у парапета над морем. Смуглый, темноволосый, в светлой рубашке. Стоял совершенно неподвижно среди движущейся пёстрой толпы — как камень в реке. И смотрел на неё.

Глаза тёмные — почти чёрные, такие глубокие, что казалось, смотришь не в глаза, а куда-то гораздо дальше. В этом лице было что-то неуловимо нездешнее — не египетское, не европейское, не определяемое никакой современной географией. Просто другое. Древнее. Как будто время, которое меняет всех, этого человека не тронуло — только обошло стороной, пожав плечами.

Он не улыбался. Не делал никаких жестов. Просто смотрел — спокойно и с такой абсолютной уверенностью, как будто имел на это право. Как будто смотрел не первый день. И не первый год.

— Соня, — сказала Милана, не отводя взгляда. — Вон там, у парапета. Мужчина в белой рубашке. Ты его видишь? Соня обернулась.

— Где? Там дедушка с собачкой и...

Милана моргнула.

Его не было.

Пустой парашют. Дедушка с собачкой. Туристы. Кошка.

— Показалось, — сказала Милана в третий раз за два дня.

Соня посмотрела на неё с чертовщинкой в глазах, но на этот раз без смеха.

— Милка, — сказала она медленно. — Тебе уже второй раз кажется одно и то же.

— Усталость.

— Ты спала десять часов.

— Акклиматизация.

— Мы уже третий день здесь.

Милана открыла кулак. Голубой скарабей лежал на ладони и смотрел крошечными фаянсовыми глазами куда-то вдаль — туда, где за набережной синело и блестело море.

Because you are already called, — сказал старик.

Long ago.

— Пойдём, — сказала Милана, убирая амулет в карман.

— Ещё коктейль хочешь?

— Хочу, — сказала Соня, не сводя с неё глаз. — Но разговор мы ещё не закончили.

— Закончили, — сказала Милана твёрдо.

Соня промолчала.

Но чертовщинка в глазах стала другой — серьёзнее, внимательнее. Она умела быть смешной и лёгкой, Соня Громова. Но она умела и чувствовать — когда что-то странное про-

исходит рядом с человеком, которого любишь.

А это, кажется, было очень странным.

Глава 4

«Четвёртый день, или Всё решается само»



Утро четвёртого дня началось с того, что Марко постучал в их дверь в девять утра и протянул Соне маленький бумажный пакет. Внутри была пара серёжек — серебряные, с голубыми камушками, куплены явно здесь же на набереж-

ной, ничего особенного. Но он держал пакет двумя руками и смотрел так, будто нёс как минимум ювелирное изделие эпохи Возрождения. Соня взяла. Посмотрела. Подняла глаза. — Grazie, — сказала она — одно из десяти выученных слов, зато произнесённое с такой теплотой, что слово как будто стало больше своего значения. Марко улыбнулся. Сказал что-то — мягко, негромко, совсем не похоже на его обычную итальянскую экспрессию. Потом кивнул и ушёл. Соня закрыла дверь и привалилась к ней спиной. — Мил, — сказала она. — Да? — Милана пила кофе у окна. — Мне кажется, это уже не просто закат над Тосканой. — Мне тоже так кажется. Соня посмотрела на серёжки на ладони. Чертовщинка в глазах на секунду исчезла — и под ней обнаружилось что-то другое, более тихое и растерянное. — Это же глупо, правда? — сказала она. — Четыре дня. Мы даже нормально поговорить не можем. — Соня, — сказала Милана мягко, — ты кивала ему три часа у бассейна и была абсолютно счастлива. — Это не аргумент. — Это лучший аргумент. Соня помолчала. Потом надела серёжки — решительно, как человек, который принял решение не думать о последствиях прямо сейчас. — Всё, — сказала она. — Пошли завтракать. День был ленивый и золотой. Они валялись у моря — Соня с телефоном, в котором дуолинго соседствовало с перепиской с Марко через переводчик, Милана с книгой, которую она открыла на одной странице ещё час назад и не перевернула. Читать не получалось. Было хорошо — объективно, изме-

римо хорошо: тепло, тихо, море шумело ровно и успокоительно, пахло морем и кремом от солнца. Всё было правильно и на месте. Кроме ощущения. Оно появилось с утра и не уходило — лёгкое, как тень облака: кто-то смотрит. Милана несколько раз поднимала глаза от книги, обводила взглядом пляж — туристы, дети, шезлонги, бар с яркими зонтиками. Никого лишнего. — Акклиматизация, — напоминала она себе. Но акклиматизация обычно не смотрит тебе в спину с такой спокойной уверенностью. После обеда Соня потащила её в сторону отельного комплекса — там, по её сведениям, работал небольшой рынок с местными мастерами. Рынок оказался настоящим: тесный, шумный, пахнущий кожей и деревом, с навесами из полосатой ткани. Милана немного расслабилась — здесь было интересно, конкретно, понятно. Вот браслеты из верблюжьей кости. Вот расписные тарелки. Вот мальчик лет двенадцати, который учит туристов писать своё имя иероглифами и берёт за это честные пять долларов. — Напишешь? — спросила Соня. — Напишу, — согласилась Милана. Мальчик посмотрел на неё, взял тростниковую палочку, обмакнул в чернила и задумался. Потом написал — уверенно, не спрашивая имени. Милана посмотрела на папирус. — Что это значит? — спросила она по-английски. Мальчик поднял на неё глаза — серьёзные, не детские. — Это значит «та, что вернулась», — сказал он. — Это ваше имя. — Моё имя Милана. Мальчик посмотрел на папирус. Потом на неё. Пожал плечами с философским видом человека, кото-

рый написал то, что написал, и не собирается оправдываться. Соня взяла Милану под руку и тихо сказала:— Не говори мне сейчас, что показалось. Милана промолчала. Она купила папирус. Незнакомец появился в четыре часа дня. Не мелькнул, не растворился в толпе — на этот раз он был близко. Слишком близко, чтобы списать на усталость и акклиматизацию. Они с Соней возвращались в отель по узкой дорожке вдоль моря. Народу было мало — час тихий, между пляжем и ужином. Милана шла чуть впереди, Соня что-то говорила про Марко и ужин, и всё было обычно — пока Милана не подняла глаза. Он шёл навстречу. По той же дорожке, неторопливо, как человек, у которого нет никакой цели, кроме этой прогулки. Белая рубашка, тёмные волосы. Тот же спокойный взгляд — и она поняла, что он видит её уже давно, с того момента, как она только появилась в конце дорожки. Десять шагов. Милана не остановилась — ноги шли сами, — но что-то внутри замерло и перестало дышать. Вблизи он был ещё более не отсюда — это был единственный способ описать то, что она чувствовала. Не угроза. Не опасность. Просто человек, который существовал в другом измерении времени и сейчас, по какой-то причине, оказался в том же месте, что и она. Пять шагов. Он посмотрел на неё — прямо, без смущения, без заигрывания. Темные глаза, в которых было что-то похожее на узнавание. Или на облегчение. Или на что-то, для чего у неё не нашлось слова. Три шага. Милана открыла рот — она не знала, что собирается сказать, просто по-

чувствовала, что нужно что-то сказать, остановиться, спросить.— Мил, подожди, у меня шлёпанец! — крикнула Соня сзади. Милана обернулась — одна секунда, не больше. Когда она снова посмотрела вперёд — дорожка была пустой. Только море слева, пальмы справа и тёплый ветер, который нёс запах соли и чего-то похожего на ладан.— Соня, — сказала Милана очень спокойно.— Что? — Соня догоняла её, держа шлёпанец в руке.— Ты видела мужчину? Который шёл навстречу.— Я смотрела на шлёпанец. — Соня надела его. — Что за мужчина?— Неважно.— Милана Сергеевна. — Соня встала перед ней и посмотрела снизу вверх с выражением, которое в классе означало я жду объяснений. — Это уже третий раз. Рассказывай.— Нечего рассказывать.— Тогда я сама расскажу. Ты видишь одного и того же человека, которого больше никто не видит, ты не спишь нормально, старик на рынке поклонился тебе как фараону, мальчик написал тебе чужое имя, и у тебя в кармане лежит амулет, который ты не можешь выбросить. — Соня помолчала. — Я ничего не упустила? Милана достала скарабея из кармана. Он лежал на ладони — голубой, гладкий, спокойный.— Нет, — сказала она тихо. — Ничего не упустила. Они постояли молча. Море шумело. Ветер трогал Сонины рыжие волосы.— И что ты об этом думаешь? — спросила наконец Соня.— Я думаю, что я устала за год и у меня разыгралось воображение.— А если нет? Милана закрыла ладонь.— Тогда я не знаю, — сказала она честно. Вечером в ресторане Марко принёс к их столи-

ку меню и сел рядом с Соней с таким естественным видом, будто так и было заведено. Соня не возражала. Они изучали меню вместе, тыкая в блюда и выясняя через переводчик, что именно они заказывают — процесс долгий, весёлый и совершенно непродуктивный с точки зрения результата, зато исключительно приятный сам по себе. Милана ела рыбу и смотрела на море за панорамным стеклом. — Завтра что делаем? — спросила Соня между двумя раундами переговоров с переводчиком. — Не знаю. Ты что хочешь? — Марко говорит, — Соня показала экран, — что здесь рядом хороший дайвинг-клуб. Он завтра идёт. Зовёт нас. Милана посмотрела на море. Дайвинг. Вода. Глубина. Она не планировала. Она вообще-то побаивалась глубины — не панически, но достаточно, чтобы обычно выбирать берег. Она должна была сказать нет, вы идите, я с книгой. — Хорошо, — сказала она. Соня удивлённо приподняла бровь. — Серьёзно? — Да. — Милана сама не понимала, почему. Просто слово вышло раньше, чем она успела подумать. Как будто не она решала. — Запишемся. Соня посмотрела на неё секунду — внимательно, без чертовщинки — и кивнула. Марко что-то написал в телефоне и показал Соне. Переводчик выдал: «Завтра море покажет вам что-то важное». — Это он так сказал? — спросила Милана. Соня перечитала оригинал. — Он сказал «завтра хорошая видимость, метров двадцать пять». — Она пожала плечами. — Переводчик опять творит. Милана посмотрела на стекло, за которым темнело море. Завтра море пока-

жет вам что-то важное. Она убрала скарабея поглубже в карман. Спать в эту ночь она почти не смогла.

Глава 5

"Там, где кончается небо"



Милана проснулась в шесть утра без будильника.

Просто открыла глаза — и всё. Никакой сонной инерции, никакого желания повернуться на другой бок. Как будто внутри кто-то тихо и настойчиво сказал: вставай.

Она лежала и смотрела в потолок. За окном только-только

светало — небо было того особого цвета, который бывает между ночью и утром, когда темнота ещё не ушла, но свет уже обещан. Соня спала на соседней кровати, зарывшись в подушку и выставив наружу только рыжий хвост волос.

Милана встала, вышла на балкон.

Море внизу было тихим и тёмным — почти чёрным у горизонта и серебристым у берега, где первые волны уже ловили рассветный свет. Воздух был прохладным, солёным, живым. Где-то далеко кричала птица.

Она достала скарабея.

Он лежал на ладони и в рассветном свете казался другим — не просто голубой фаянс, а что-то более глубокое, с переливом, как морская вода над песком. Милана смотрела на него и чувствовала то, что чувствовала уже четыре дня — притяжение. Необъяснимое, негромкое, настойчивое. Как будто амулет знал что-то, чего не знала она.

— Ладно, — сказала она тихо — себе, или скарабею, или морю, которое шумело внизу. — Посмотрим.

Дайвинг-клуб назывался «Blue Horizon» и располагался в десяти минутах ходьбы от отеля — небольшое белое здание у самой воды, с лодками у причала и запахом неопрена и моря.

Марко уже был там — в гидрокостюме, с маской на лбу, живой и довольный, как человек, у которого сегодня праздник. Увидев Соню, он помахал обеими руками с такой радостью, что стоявший рядом инструктор невольно улыбнулся.

Инструктор оказался молодым египтянином лет двадцати пяти — смуглый, быстрый, с улыбкой, которая, кажется, была включена по умолчанию и выключалась разве что на ночь.

— Карим, — представился он, пожав руки обоим. Посмотрел на Соню. На Милану. Снова на Соню. — Вы первый раз ныряете?

— Я второй, — сказала Соня. — Она первый.

Карим посмотрел на Милану с профессиональным вниманием.

— Не бойтесь, — сказал он. — Море здесь доброе.

— Я не боюсь, — сказала Милана.

Это было почти правдой.

Инструктаж занял сорок минут.

Карим объяснял терпеливо и подробно — как дышать, как выравнивать давление, как подавать сигналы руками, что делать если... Группа была небольшая: Милана с Соней, Марко, немолодая немецкая пара в одинаковых гидрокостюмах и молчаливый японец с профессиональной камерой.

Соня слушала вполуха — она поглядывала на Марко, который поглядывал на неё, и они успели обменяться через переводчик тремя сообщениями, пока Карим объяснял про акваланг.

Милана слушала внимательно.

Не потому что боялась — просто что-то в ней сегодня было очень тихим и очень сосредоточенным. Как перед чем-то важным. Как перед экзаменом, ответы на который ты знаешь

— но ещё не понимаешь, что знаешь.

Скарабея она положила в маленький кармашек гидрокостюма, застегнула молнию. Это тоже было необъяснимо — она могла оставить его в номере, должна была оставить, но рука не поднялась.

— Готовы? — спросил Карим, оглядывая группу.

— Pronti! — сказал Марко.

— Готовы, — сказала Соня.

Милана кивнула.

Они вошли в воду с борта небольшого катера — примерно в километре от берега, там, где начинался риф.

Первые секунды погружения были странными — мир перевернулся, привычные ориентиры исчезли, и было только давление воды, собственное дыхание в маске, громкое и ритмичное, как метроном, и синева вокруг — со всех сторон, сверху и снизу, бесконечная и притягательная.

А потом Милана открыла глаза по-настоящему.

И на долю секунды забыла дышать.

Риф начинался метрах в пяти под поверхностью и уходил вниз — в глубину, в темноту, в синеву, у которой не было дна. Но здесь, в верхних слоях воды, был свет — просеянный, зеленовато-золотой, падающий сверху косыми живыми столбами, которые двигались вместе с волнами и превращали всё вокруг в медленный танец теней и сияния.

Кораллы были невероятными.

Не такими, какими Милана их представляла по картин-

кам — плоскими и схематичными. Настоящие кораллы были объёмными, архитектурными, как целый город, выстроенный по законам, которые людям не снились. Ветвистые горгонарии раскидывались в стороны, как деревья волшебного леса — тёмно-красные, бордовые, с тонкими прозрачными полипами, которые колыхались в токах воды. Мозговые кораллы лежали округлыми валунами, изрезанными бороздами, серьёзные и древние. Таблитчатые акропоры выстраивались горизонтальными ярусами — этаж за этажом, плоскость за плоскостью, в каждом ярусе своя жизнь, своя суeta, своё население.

И рыбы.

Их было столько, что Милана на секунду почувствовала себя не ныряльщиком, а гостем — неожиданным, но принятым. Стайка рыб-попугаев прошла мимо неё в полуметре — бирюзовые, изумрудные, с розовыми отметинами, такие яркие, что казались нарисованными. Следом, не торопясь, двигался хирург — электрически-синий, с жёлтым хвостом, деловитый и совершенно невозмутимый. По дну скользила крылатка — медленная, пышная, как живой веер, с полосами ржавого и белого, ядовитая и прекрасная, как многие опасные вещи.

Вдоль кораллового выступа висела стая стеклянных рыбок — тысячи крошечных серебристых тел, и они двигались как одно существо, поворачиваясь все разом, вспыхивая все разом, рассыпаясь и снова собираясь в облако — жи-

вое, пульсирующее, завораживающее.

Где-то в глубине, на краю видимости, прошла тень — длинная, плавная. Наполеон-рыба, огромная, неторопливая, с высоким лбом и таким выражением, которое можно было бы назвать философским.

Милана плыла и смотрела — и чувствовала, как что-то внутри, давно привыкшее к тесным пространствам учительской и шуму тридцати двух детей одновременно, вдруг разворачивается, расправляется, дышит. Здесь было тихо — не мёртвой тишиной, а живой: шорох, потрескивание кораллов, далёкое пение воды. Другой язык. Древний.

Она не заметила, как отстала от группы.

Карим плыл впереди, группа держалась за ним — Соня рядом с Марко, немецкая пара методично фотографировала каждый коралл, японец с камерой завис над какой-то норкой в рифе. Все были заняты.

Милана плыла чуть в стороне вдоль кораллового уступа — и риф здесь понижался, уходил ступенями вниз, и каждая ступень была своим миром, со своим светом и своими обитателями.

На третьей ступени она увидела расщелину.

Узкая, вертикальная, уходящая вглубь кораллового массива. Обычная расщелина — таких здесь были десятки. Но из неё шёл свет.

Не солнечный — солнечные столбы падали сверху, она уже умела их различать. Этот был другим. Тёплым. Золотым.

Ровным — без мерцания, без движения. Как будто внутри расщелины стояла свеча.

Милана остановилась.

Что-то потянуло её вниз — не течение, не физическая сила. Просто притяжение. То же самое, что она чувствовала четыре дня, держа скарабея в ладони.

Она опустилась ниже.

Свет стал ярче.

В расщелине, там, где коралл образовывал небольшую нишу — словно специально, словно кто-то выдолбил полочку в живом камне — лежал амулет.

Золотой.

Скарабей. Больше того, что был у неё в кармане, тяжелее на вид — с расправленными крыльями, с тонкой гравировкой на спинке. Он лежал там, где пролежал, возможно, тысячелетия — и выглядел так, будто его положили вчера. Золото не потускнело, не обросло кораллом, не тронулось ржавчиной. Оно просто светилось — изнутри, ровно и тепло, как угли под пеплом.

Милана зависла над ним.

Разум говорил: не трогай. Позови Карима. Это может быть артефакт, это может быть опасно, это вообще непонятно что.

Разум говорил много правильных вещей.

Рука уже тянулась вниз.

Пальцы коснулись металла.

Он был тёплым. Не температурой воды — живым теплом,

как кожа. Как рука человека.

И в тот же момент — всё изменилось.

Сначала звук: шум воды, дыхание в маске, далёкие голоса группы — всё это схлопнулось в одну точку и исчезло, как гаснет свет, когда выключают лампу. Абсолютная тишина — не пустая, а наполненная, как тишина перед музыкой.

Потом свет: золотой, живой, он хлынул из амулета и разошёлся волной — во все стороны сразу, вверх и вниз, заполняя воду, растворяя кораллы и рыб, растворяя синеву и глубину, растворяя всё, что было вокруг.

Море исчезало.

Не страшно — это было самое странное. Не страшно совсем. Как будто так и должно быть. Как будто это не конец чего-то, а начало.

Последнее, что она видела — золотой свет, заполнивший всё пространство до краёв. Последнее, что она чувствовала — тепло амулета в сжатой ладони. Последнее, что она слышала — голос. Тот самый, из сна. Низкий, спокойный, на языке, которого она не знала и понимала каждое слово:

«Ты пришла. Я ждал тебя».

И море исчезло.

Глава 6

"Нил, лотосы и полная растерянность"



Первым она почувствовала запах. Не море — море исчезло вместе со светом. Что-то другое: земля, прогретая солнцем до самой глубины, влажная и тёплая, как дыхание. Тростник. Цветы — незнакомые, сладкие, чуть одурманива-

ющие. И ещё что-то — дым, смола, благовония — тонкий слой поверх всего остального, как позолота поверх дерева. Потом — звуки. Птицы. Много птиц — не курортные чайки, не воробьи. Что-то незнакомое, резкое и прекрасное одновременно. Плеск воды — медленный, широкий, совсем не похожий на морской.

Где-то далеко — голоса. Человеческие, но на языке, который она не знала. И понимала каждое слово. Милана открыла глаза. Небо было синим. Не таким, как над Красным морем — там синева была морская, с солью и йодом, живая и подвижная. Это небо было другим: глубоким, тяжёлым, почти фиолетовым у горизонта, выгоревшим до белизны в зените. Абсолютным. Как будто кто-то натянул над миром огромный шёлк и забыл сделать складки. Она лежала на берегу. Не на песке — на влажной, тёмной, жирной земле, которая пахла рекой и жизнью. Под рукой — мягкая трава, незнакомая, широколистная. Над головой — тростник, высокий, в два человеческих роста, качается в горячем воздухе и шепчет что-то монотонное и бесконечное. Милана села. Голова не кружилась — это было странно. После того, что произошло, голова должна была кружиться. Должно было тошнить, должны были трястись руки, должна была случиться паника — нормальная, человеческая, вполне обоснованная паника человека, которого только что поглотило море и выплонуло в неизвестность. Ничего этого не было. Было только чувство обострённой реальности — будто кто-то

стёр тонкую плёнку между ней и миром, и теперь всё вокруг касалось её напрямую. Цвета слишком яркие. Запахи слишком отчётливые. Воздух слишком горячий, слишком плотный, слишком осязаемый.

Она посмотрела на свои руки. Гидрокостюм исчез. На ней было платье — льняное, белое, тонкое, с широкими плечами и золотой каймой по краю. Простое и одновременно такое, будто его соткали в другом времени. На запястьях — браслеты, медные, с синей эмалью. На шее — что-то тяжёлое. Она поднесла руку к шее. Золотой скарабей — тот, из расщелины — висел на широком золотом воротнике, который лежал на плечах как нагрудник. Милана зажмурилась. Открыла глаза. Всё осталось на месте. Тростник, небо, тёмная земля, запах цветов и смолы.

— Хорошо, — сказала она вслух по-русски. — Хорошо. Спокойно. Это либо сон, либо не сон, и в обоих случаях паника не поможет. Где-то в тростнике вспорхнула птица — белая, с длинным изогнутым клювом. Ибис. Милана посмотрела на неё. Ибис посмотрел на Милану.

— Ты хоть знаешь, где я нахожусь? — спросила она. Ибис улетел с видом существа, у которого нет времени на глупые вопросы. Река открылась внезапно — она раздвинула тростник и вышла на берег, и Нил ударил в глаза всей своей шириной и медлительной мощью. Он был огромным. Не быстрым — спокойным, как что-то очень древнее и очень уверенное в себе. Коричнево-зелёный у берега, тёмно-синий на середине,

с бликами такими яркими, что больно смотреть. На другом берегу — полоса зелени и сразу за ней, без перехода — жёлтая пустыня, уходящая к горизонту. Чёткая граница: жизнь и смерть, вода и песок, зелёное и золотое. По реке скользила лодка — узкая, с парусом из тростниковых матов, с фигуркой человека на корме. Медленно. Бесшумно. Как будто лодка была частью реки, а не чем-то отдельным. На воде цвели лотосы. Их было много — целые заросли у берега, белые и голубые, с восковыми лепестками и жёлтыми сердцевинами, поднятыми над водой на прямых стеблях. Они пахли — сладко, тяжело, как мёд с примесью чего-то более сложного. Среди них сидели цапли — серые, неподвижные, как статуи, расставленные чьей-то аккуратной рукой. Милана стояла на берегу и смотрела. Она читала про Нил. Видела фотографии, документальные фильмы, картинки в учебниках. Всё это было ничем — лишь тенью реальности того, что сейчас открылось перед ней во всей своей необъятности.

— Нил, — сказала она тихо. — Это Нил. И это было не вопросом.

Они появились из-за поворота берега — бесшумно, как будто вышли из самого тростника. Их было пятеро. Белые льняные одежды, головы выбриты, на шеях — тяжёлые воротники с бирюзой и золотом. У двоих в руках — длинные посохи с навершиями в форме головы шакала. Лица серьёзные, торжественные, закрытые — лица людей, привыкших не удивляться, потому что их работа состояла именно в том,

чтобы встречать невозможное с достоинством. Они увидели Милану. Остановились. Самый старший — высокий, худой, с сетью глубоких морщин, в которых словно осели солнце, ветер и долгие годы, — сделал шаг вперёд. Посмотрел на неё долго, внимательно — сверху вниз, с профессиональной тщательностью человека, умеющего читать знаки. Потом его взгляд упал на золотой скарабей на её груди. И он опустился на колени. Медленно, с достоинством — не падая, а именно опускаясь, как опускается что-то тяжёлое и значительное. За ним — остальные четверо. Все пятеро стояли на коленях на берегу Нила и смотрели в землю.

— Вставайте, пожалуйста, — сказала Милана по-русски. Потом, не понимая откуда знает слова, повторила на их языке — медленно, осторожно, как пробуют незнакомую дорогу:

— Встаньте. Я не... я просто... Старший поднял голову. Глаза у него были светлыми для египтянина — янтарными, острыми, привыкшими видеть больше, чем видят обычные люди.

— Ты пришла из воды, — сказал он. Не спросил — констатировал, как записывают в летопись очевидный факт. — В год великого испытания. Как сказано.

— Я не... — начала Милана.

— Ты несёшь знак Хатхор, — продолжал он, глядя на скарабея. — Ты говоришь на языке богов. — Он встал — медленно, опираясь на посох. — Пророчество исполняется. Ми-

лана открыла рот. Закрыла.

-Скажи им, — подсказал разум. — Скажи, что ошибка, что ты учительница литературы из обычного города, что у тебя незаполненные журналы и конспекты в чемодане и подруга, которая сейчас, наверное, уже обыскала всё дно Красного моря.

— Как вас зовут? — спросила она вместо этого. Старший чуть склонил голову.

— Небвер. Верховный жрец храма Хатхор. — Пауза. — А твоё имя нам известно. Оно записано три поколения назад рукой провидца Аменра. Он произнёс что-то — не её имя, другое, древнее, с долгими гласными, похожее на звук воды. — Это ты. Милана почувствовала, как что-то холодное прошло вдоль позвоночника.

— Нет, — сказала она тихо. — Меня зовут Милана. Небвер посмотрел на неё с мягкостью человека, привыкшего к тому, что боги иногда забывают, кто они есть.

— Это одно и то же, — сказал он просто. Они шли вдоль берега — Милана и пятеро жрецов, которые держались чуть позади, как охрана или эскорт, она так и не поняла. Небвер шёл рядом и молчал — не неловко, а так, как молчат люди, умеющие ждать. Милана смотрела по сторонам и пыталась собрать из увиденного что-то похожее на понимание. Деревня появилась за поворотом реки — невысокие дома из сырцового кирпича, плоские крыши, пальмы. Люди — женщины с кувшинами, дети, мужчина с быком. Обычная жизнь, древ-

няя и ничуть не подозревающая о своей древности. Они увидели процессию. Увидели Милану. И стали останавливаться — один за другим, как останавливается рябь по воде. Женщина с кувшином замерла. Дети притихли. Мужчина с быком поклонился — неловко, быстро, как кланяются не по привычке, а по внезапному импульсу.

— Они не должны бояться, — сказала Милана Небверу.

— Они не боятся, — ответил он. — Они благодарят.

— За что?

Небвер посмотрел на неё.

— За то, что ты пришла, — сказал он. — Мы ждали долго.

Храм показался на холме — белый, с колоннами, с золотыми вершинами, поймавшими солнце и бросающими его обратно в небо. Большой — намного больше, чем казалось издали. С широкой лестницей, с пилонами, на которых были высечены фигуры богов в три человеческих роста. Хатхор смотрела с камня — женское лицо с коровьими рогами и солнечным диском, с полуулыбкой, которую трудно было прочитать однозначно: то ли доброта, то ли предупреждение. Милана остановилась у подножия лестницы. Золотой скарабей на её груди стал горячим — так нагревается камень, весь день пролежавший под египетским солнцем. Она посмотрела на реку — она была видна отсюда, широкая, величавая, сверкающая. Где-то там, за горизонтом, за тысячелетиями — было Красное море и дайвинг-клуб «Blue Horizon», и испуганная Соня, и Марко с его блокнотом, и незаполненные

журналы в номере отеля. Другая жизнь. Другое время. Милана подняла ногу и ступила на первую ступень лестницы.

— Расскажи мне про пророчество, — сказала она Небверу. — Всё. С самого начала.

Небвер чуть улыбнулся — впервые с момента их встречи. Улыбка была сдержанной, но искренней.

— Я ждал этого вопроса, — сказал он. — Три поколения. И они начали подниматься.

Глава 7

"Три поколения ожидания и лицо на камне"



Внутри храм был другим.

Снаружи — белый камень, слепящее солнце, открытое небо. Внутри — полумрак, прохлада, запах ладана такой гу-

стой и древний, что казалось, он пропитал сами стены насквозь, до последнего камня. Свет проникал через узкие высокие проёмы под потолком — косыми золотыми полосами, в которых медленно плыли пылинки, как маленькие планеты в маленьких вселенных.

Колонны уходили вверх и терялись в полумраке — толстые, как старые деревья, покрытые сплошным слоем росписи. Боги смотрели со всех сторон — огромные, торжественные, исполненные той спокойной уверенности, которая бывает только у тех, кто знает что-то очень важное и не торопится об этом рассказывать.

Хатхор была везде.

На колоннах, на стенах, на потолке — женское лицо с мягкой полуулыбкой, с рогами и солнечным диском, с систром в руке. Богиня любви, красоты, музыки, материнства, радости — и одновременно богиня смерти и перерождения. Милана помнила это из какой-то книги — прочитанной когда-то давно, в другой жизни, которая сейчас казалась сном.

Жрицы встретили их у входа во внутренний зал — молчаливые, в белом, с цветами лотоса в руках. Посмотрели на Милану — и в их взглядах было то же, что во взгляде Небвера у реки: не удивление. Ожидание, которое наконец закончилось.

Милана шла за Небвером и старалась не думать о том, что будет, если это не сон.

Они остановились в боковом зале — меньше главного, с

низким потолком, с единственным светильником на треноге, который горел тихим ровным пламенем без дыма. Небвер жестом попросил жриц удалиться, сел на каменную скамью у стены и указал Милане на место напротив.

Она села.

Некоторое время он просто смотрел на неё — внимательно и без неловкости, как смотрят на что-то, что долго изучали по описанию и, наконец, увидели вживую.

— Ты хочешь знать всё, — сказал он, наконец. — Это хорошо. Те, кто приходит и не задаёт вопросов, опасны. Вопросы — это признак разума.

— Начните с начала, — сказала Милана. — Что такое пророчество и кто его написал.

Небвер кивнул. Сложил руки на посохе.

— Восемьдесят лет назад, — начал он, — жил провидец по имени Аменра. Он служил Хатхор всю жизнь — с семи лет до последнего дня. На девяносто втором году жизни, за три дня до смерти, он вошёл в святилище, взял тростник и написал на папирусе то, что увидел. Он не объяснял и не толковал — просто записал, слово за словом, как пишут под диктовку.

— И что он написал?

Небвер поднялся. Подошёл к стене — и Милана увидела, что на ней, в отличие от остальных стен храма, нет росписи. Только текст — длинные строки иероглифов, высеченные в камне с той тщательностью, с какой высекают то, что должно

пережить века.

— Я переведу тебе главное, — сказал он, не глядя на стену — очевидно, знал наизусть. — «В год, когда Египет встанет перед лицом великого испытания, когда враги придут с севера и с востока, когда сам воздух задрожит от неопределённости — в этот год Хатхор пошлёт свою жрицу. Она придёт не из песков и не из городов. Она придёт из воды — из той воды, что лежит за краем известного мира, за горизонтом, куда не ступала нога египтянина. Её глаза будут цвета Нила в час разлива. На её груди будет знак богини. Она будет говорить на языке богов, хотя сама не будет знать об этом. И она принесёт с собой то, что Египту нужнее войска и золота — равновесие между мирами, которое было нарушено в начале времён».

Небвер замолчал.

В светильнике тихо потрескивал огонь.

— И это я, — сказала Милана. Не утверждая — пробуя слова на вес.

— Ты пришла из воды, — сказал Небвер просто. — На тебе знак Хатхор. Ты говоришь на нашем языке, хотя никто тебя не учил. Твои глаза — посмотри в воду, если не веришь.

Милана опустила взгляд на небольшой бассейн у стены — каменный, с неподвижной тёмной водой. Наклонилась.

Её отражение смотрело снизу — белое платье, золотой воротник. И глаза. Серо-зелёные, с золотистыми искрами — в полумраке храма, в тёмной воде они были именно такими:

цвета Нила в час разлива. Ясными. Глубокими. Немного пугающими.

Она выпрямилась.

— Что значит «равновесие между мирами»? — спросила она.

— Это я расскажу позже, — сказал Небвер. — Сначала ты должна увидеть кое-что ещё.

Он привёл её в самый дальний зал храма.

Узкий коридор, низкий потолок, факелы в кольцах на стенах. Запах ещё гуще — ладан, мирра, что-то сладкое и тяжёлое. Милана шла за Небвером и чувствовала, как с каждым шагом воздух становится плотнее, значительнее, как бывает в местах, где долго молились.

Коридор заканчивался залом — маленьким, почти тесным. Три стены были расписаны — сцены из жизни Хатхор, ладьи на реке, процессии, жертвоприношения. Четвёртая стена была другой.

На ней было изображение женщины.

Высеченное в камне — не нарисованное, а именно высеченное, с той глубиной и тщательностью, с которой египетские мастера изображали только богов и фараонов.

Женщина стояла в полный рост. Высокая, с тёмными волосами, в белом платье с золотой каймой. На груди — скарабей. На запястьях — браслеты. На лице — выражение, которое трудно было описать одним словом: спокойствие и растерянность одновременно, сила и уязвимость, что-то очень

древнее и очень живое.

Милана подошла ближе.

И остановилась.

С каменной стены на неё смотрело её собственное лицо.

Не похожее — точное. Линия скул, разрез глаз, форма губ, лёгкий наклон головы — как будто мастер лепил не с воображаемого образа, а с натуры. Даже выбившаяся прядь волос вдоль щеки — та самая, которую она всегда убирала и которая всегда возвращалась.

Под изображением — иероглифы. Милана не читала иероглифов.

— Что здесь написано? — спросила она, и голос получился тише, чем она хотела.

— «Та, что вернулась», — сказал Небвер. — Её имя — «та, что вернулась».

Мальчик на рынке в Хургаде:

-Это ваше имя.

Милана стояла перед своим изображением, высеченным в камне восемьдесят лет назад, и чувствовала, как почва уходит из-под ног — не физически, а внутренне, как уходит последняя опора, на которую опирался здравый смысл.

Это не сон.

Сны не пахнут ладаном так отчётливо. Сны не оставляют на коже тепло золотого воротника. В снах не болят ноги от ходьбы по каменным плитам.

Это не сон.

— Мне нужно сесть, — сказала она.

— Разумно, — согласился Небвер без тени иронии и указал на скамью у стены.

Они сидели в маленьком зале, и Небвер говорил — спокойно, методично, как человек, который готовился к этому разговору восемьдесят лет — сначала заочно, потом лично, последние двадцать пять лет своей жизни.

Он рассказал про разлом.

Давно — так давно, что даже жрецы не помнили точно когда — между мирами возникла трещина. Не физическая, не видимая — трещина в том, что держит время в порядке, что не позволяет прошлому и будущему перемешаться, как перемешиваются воды двух рек в месте слияния. Трещина была небольшой, но она росла. Медленно, как растёт трещина в камне под действием воды и времени.

— Поэтому сны, — сказала Милана вдруг. — Поэтому я слышала голос ещё там. Поэтому старик на рынке...

— Трещина работает в обе стороны, — кивнул Небвер. — Те, кто умеет чувствовать — чувствовали тебя раньше, чем ты пришла. Ты тоже чувствовала — просто не знала, что именно.

— И что я должна сделать?

— Закрывать трещину. Но это не сейчас — это требует времени и подготовки. Сначала — ты должна войти в святилище. Пройти испытание.

— Какое испытание?

Небвер посмотрел на неё.

— Войти туда, откуда чужие не выходят, — сказал он спокойно. — И выйти.

Милана подумала секунду.

— Когда? — спросила она.

— Завтра на рассвете. — Он встал. — Сегодня тебе нужно отдохнуть. Тебя отведут в покои. Дадут еду и воду. И одежду — более подходящую для появления при дворе фараона.

— При дворе фараона, — повторила Милана.

— Фараон должен тебя видеть. Пророчество касается всего Египта — а значит, касается его, прежде всего.

Он уже шёл к выходу, когда Милана спросила:

— Небвер. Там, при дворе — кто ещё знает о пророчестве?

Жрец остановился. Помолчал секунду дольше, чем нужно для простого ответа.

— Все, кто важен, — сказал он. — И некоторые из тех, кто важен, совсем не рады, что оно исполняется.

Он вышел.

Милана осталась одна в маленьком зале.

С каменной стены на неё смотрело её собственное лицо — спокойное, чуть растерянное, с выбившейся прядью волос.

Та, что вернулась

— Ну и дела, — сказала Милана по-русски.

Хатхор на соседней стене чуть улыбалась своей неизменной полуулыбкой. Ей явно было что сказать. Она явно не то-

ропилась.

Покои оказались неожиданно красивыми.

Небольшая комната с высоким окном, через которое был виден Нил — далёкий, блестящий, спокойный. Ложе с льняными покрывалами. Кувшин с водой и тарелка с фруктами — финики, инжир, что-то круглое и розовое, незнакомое. Светильник на полу бросал мягкие тени на расписные стены.

Жрица — молодая, с огромными тёмными глазами — принесла одежду: тонкое льняное платье, украшения, сандалии с золотыми ремешками. Поклонилась и вышла, не сказав ни слова.

Милана подошла к окну.

Нил внизу жил своей вечной жизнью — лодки, птицы, зелёные берега. Солнце клонилось к западу и красило воду в медь и золото. Где-то пели — высоко, протяжно, красиво.

Она думала о Соне.

Соня сейчас — там, на поверхности Красного моря, кричит её имя, и Карим ныряет обратно, и все в группе смотрят вниз в синюю воду. И Марко рядом, растерянный и напуганный, не понимающий, что происходит.

-Прости, — подумала Милана. — Я не знаю, что происходит. Но я живая. Я в порядке. Я разберусь и вернусь.

Она сжала скарабея на груди.

Он был тёплым.

В коридоре раздались шаги — быстрые и уверенные. Затем голос — низкий, резкий, явно недовольный чем-то:

— Где она?

Голос другого человека — судя по интонации, охранника — что-то ответил примирительно.

— Мне всё равно, — сказал первый голос. — Я должен её видеть.

Милана обернулась от окна.

В дверях стоял мужчина.

Молодой — лет двадцати пяти, не больше. Высокий, широкоплечий, в простом льняном килте и кожаных наручах воина, без украшений, без церемониального облачения — как человек, который только что вернулся из похода и не успел или не захотел переодеться. Тёмная кожа, короткие волосы, скулы резкие, как у человека, привыкшего к ветру и солнцу. Глаза — тёмные, прямые, без тени придворной любезности.

Он смотрел на неё.

Не как жрецы — не с благоговением и не с торжеством исполнившегося пророчества. Иначе. Изучающе. Скептически. Как смотрит человек, которому что-то рассказали, а он не уверен, что этому стоит верить.

— Значит, ты и есть жрица из пророчества, — сказал он.

Это тоже не было вопросом. И интонация была совсем другой, чем у Небвера.

Милана выпрямилась.

— А ты кто? — спросила она.

Он чуть приподнял бровь — как будто не ожидал вопроса

в ответ на своё появление.

— Хоремхеб, — сказал он. — Сын фараона.

Пауза.

— И я не верю в пророчества, — добавил он.

Милана смотрела на него — на это прямое, резкое, живое лицо, на эти тёмные глаза без единой попытки понравиться — и чувствовала что-то странное. Не страх и не раздражение.

Облегчение.

Наконец-то человек, который смотрит на неё и видит просто человека.

— Хорошо, — сказала она. — Я тоже не верила. До вчерашнего дня.

Хоремхеб смотрел на неё секунду. Потом — совсем коротко, почти незаметно — что-то изменилось в его лице. Не улыбка. Просто чуть меньше скепсиса. Самую малость.

— Небвер сказал, завтра испытание, — произнёс он.

— Да.

— Я буду там.

— Зачем? Ты же не веришь.

— Именно поэтому, — сказал он.

Повернулся и ушёл — так же быстро, как появился. Шаги в коридоре, и тишина.

Милана стояла у окна.

За спиной Нил золотел в закатном свете. Где-то в храме тихо пели жрицы.

Скарабей на груди был тёплым.

Она прижала его ладонью.

— Та, что вернулась, — сказала она тихо. — Ладно. Посмотрим.

Глава 8

"Испытание"



Её разбудили до рассвета.

Жрица вошла тихо, без слов — поставила у ложа чашу с водой, подождала, пока Милана умоется, и протянула простое белое платье, без украшений, без воротника со скарабеем. Только тонкая льняная ткань, перевязанная на талии

шнуром.

— А амулет? — спросила Милана.

Жрица покачала головой и впервые сказала что-то:

— В святилище входят без даров богов. Только с тем, что внутри.

Милана сняла воротник, положила на ложе рядом со скарабеем из кармана гидрокостюма — тем, маленьким, что подарил старик на рынке. Два амулета лежали рядом — старый и древний, голубой и золотой, как два конца одной нити.

Она вышла в коридор.

Небо за узкими окнами было ещё тёмным — глубокого синего цвета, с последними звёздами, бледнеющими у горизонта. Воздух был прохладным — насколько может быть прохладным египетский воздух, то есть едва заметно мягче, чем днём.

У входа в главный зал её ждал Небвер — и не только он.

Хоремхеб стоял в стороне, у колонны, в той же простой одежде воина. Не подошёл, не заговорил — просто смотрел, как она идёт через зал, с тем же изучающим выражением, что и накануне.

— Ты пришёл, — сказала Милана, проходя мимо.

— Я сказал, что приду.

— Зачем тебе это? Если ты не веришь?

Он помолчал секунду.

— Если ты обманщица, — сказал он тихо, — я хочу увидеть это своими глазами. А если нет... — Он не закончил.

— А если нет?

— Тогда тем более хочу увидеть, — сказал он и отвёл взгляд первым.

Небвер, наблюдавший этот разговор с тенью улыбки, которую быстро спрятал, сделал жест рукой.

— Время, — сказал он. — Идём.

Святылище находилось в самом сердце храма — за тремя дверями, за тремя залами, всё глубже и темнее, всё гуще запах смолы и старого камня. Последняя дверь была низкой — даже Милане пришлось пригнуться, — и за ней была абсолютная темнота.

— Что я должна делать? — спросила она у входа.

— Войти, — сказал Небвер. — И не бояться того, что увидишь. Видение покажет тебе правду — твою собственную правду. Не каждый готов её увидеть.

— А если я не выйду?

Небвер посмотрел на неё с тем выражением, которое уже стало знакомым — спокойным, но не лишённым сочувствия.

— Значит, пророчество ошиблось, — сказал он просто. — Боги тоже иногда ошибаются в людях. Хотя редко.

Это не было обещанием безопасности. Это было честностью — и за эту честность Милана почему-то была благодарна.

Она оглянулась.

Хоремхб стоял в нескольких шагах, скрестив руки, и смотрел прямо на неё. Не отворачиваясь.

Милана сделала шаг в темноту.

Дверь за ней закрылась — не со стуком, а тихо, словно вода закрылась над головой.

Темнота была абсолютной.

Не та темнота, к которой привыкают глаза через минуту — естественная, плотная, без единого источника света. Милана стояла неподвижно, дышала медленно, и сердце билось громко, гулко, как в пустом доме.

— Эй, — сказала она в темноту, просто чтобы услышать собственный голос. — Я здесь.

Ответа не было.

А потом темнота впереди — не вспыхнула, а как-то медленно растворилась, как растворяется чернота воды, когда в неё опускают лампу. Появился свет — золотой, тёплый, тот самый, что она видела в расщелине рифа.

И в этом свете — лицо.

Сначала размытое, потом всё более чёткое. Мужское лицо — не Хоремхёб, кто-то другой. Старше, спокойнее, с чертами, в которых проступала та же неуловимая, нездешняя древность, что у незнакомца с курорта.

Это он, — поняла Милана. — Тот, кто следил за мной у моря.

Только здесь, в этом свете, он не прятался и не исчезал. Он смотрел прямо, и в его глазах было что-то, что заставило её замереть — не страх, а узнавание такой глубины, что от него заболело где-то внутри, в месте, у которого нет названия.

— Кто ты? — спросила она.

Голос ответил:

— Не время для имён. Время для правды.

— Какой правды?

— Ты боишься, что не справишься. Ты боишься, что всё это — безумие, и ты сходишь с ума на дне Красного моря, пока твоё тело лежит где-то на рифе. Ты боишься полюбить здесь, потому что знаешь, что придётся уйти. И больше всего ты боишься, что захочешь остаться.

Милана молчала.

Это была правда — точная, неприятная, обнажённая до костей. Всё то, что она сама себе не говорила вслух четыре дня на курорте и теперь, наверное, никогда бы не призналась — здесь, в темноте, было сказано без обиняков.

— Хорошо, — сказала она тихо. — Это правда. Что дальше?

— Дальше — ты решаешь, бояться этого или жить с этим. Страх не уходит. Просто перестаёт быть главным.

Свет начал меркнуть.

— Подожди, — сказала Милана быстро. — Я тебя знаю. Я видела тебя там, на берегу моря. Кто ты?

Лицо — в последний раз, ясно, отчётливо — улыбнулось. Не радостно. Устало.

Так улыбаются люди, которые слишком долго шли к встрече и вдруг поняли, что она действительно состоялась.

— Вспомни, — сказал голос. — Просто вспомни.

Свет погас.

Темнота вернулась — но в этот раз не пугающая. Просто темнота, обычная, физическая, в которой можно дышать и ждать.

Милана нащупала дверь рукой и толкнула её.

Она вышла на свет — настоящий, утренний, бьющий прямо в глаза после темноты святилища — и зажмурилась.

Когда глаза привыкли, она увидела зал.

Все стояли неподвижно. Небвер — с выражением сдержанного облегчения. Жрецы — несколько человек, появившихся, видимо, пока она была внутри — смотрели с открытым изумлением, как будто увидели то, во что до конца не верили, даже зная пророчество.

И Хоремхеб.

Он стоял там же, где она его оставила. Но лицо у него было другим — скепсиса в нём почти не осталось, его сменило что-то более сложное: не вера в богов, но что-то похожее на признание факта, который нельзя больше отрицать.

— Сколько я была там? — спросила Милана, обращаясь к Небверу.

— С рассвета до полудня, — сказал он.

— Что? — Милана посмотрела на свет, льющийся в окна. — Мне показалось — минута, не больше.

— Время в святилище течёт иначе, — сказал Небвер. — Это нормально. Это значит, что видение было настоящим, а не просто темнотой. — Он подошёл ближе, посмотрел на неё

внимательно. — Что ты видела?

Милана посмотрела на него.

— Это останется при мне, — сказала она.

Небвер не настаивал. Только кивнул — с уважением, как человек, который понимает границы.

— Тогда пророчество подтверждено, — сказал он, повернувшись к остальным жрецам. — Жрица вошла и вышла. Боги её приняли.

Жрецы склонили головы — на этот раз без той первоначальной торжественности, а с чем-то более тихим и личным, похожим на благодарность.

Хоремхеб подошёл, когда остальные начали расходиться.

— Ну? — спросила Милана. — Теперь ты веришь?

Он смотрел на неё долго — внимательно, без прежнего недоверия, но и без того благоговения, с которым на неё смотрели жрецы. Что-то третье. Что-то, для чего пока не было слов ни у него, ни у неё.

— Я верю, что ты вошла в темноту, где, по слухам, чужаки не выживают, — сказал он. — И вышла. Этого достаточно, чтобы я перестал считать тебя обманщицей.

— Это не ответ на мой вопрос.

— Это лучший ответ, который у меня есть сейчас, — сказал он. И, помолчав, добавил: — Что ты видела там? Не для жрецов. Для себя.

Милана посмотрела на него.

— Лицо, — сказала она тихо. — Человека, которого, ка-

жется, знаю очень давно. Хотя мы не встречались.

Что-то дрогнуло в лице Хоремхеба — едва заметно, но Милана это увидела.

— У нас в Египте есть пословица, — сказал он. — «Что было до Нила, помнит только сам Нил».

— Что это значит?

— Что некоторые вещи древнее памяти. — Он посмотрел на неё прямо. — Идём. Тебя ждёт мой отец.

— Фараон?

— Фараон, — подтвердил Хоремхеб с лёгкой иронией в голосе. — Постарайся не упоминать про обманщиков. Двор это не любит.

Он первым пошёл к выходу.

Милана на секунду задержалась, глядя на низкую дверь святилища, из которой только что вышла.

Вспомни, — сказал голос.

Она пока не помнила. Но что-то внутри, очень тихо, уже начинало шевелиться — как первая рябь на воде перед тем, как поднимется волна.

Она пошла за Хоремхебом.

Глава 9

«Фараон, золото и первый яд под улыбкой»



Дворец открылся за поворотом дороги — и Милана невольно остановилась.

Она видела храм — он был великолепен по-своему, суров и торжественен. Но дворец был другим — не торже-

ственным памятником власти, а огромным миром, в котором каждую секунду что-то происходило. Белые стены, расписанные охрой, лазуритом и золотом. Колонны в форме связанных стеблей папируса, раскрашенные так ярко, что казались только что нарисованными. Сады с прудами, в которых плавали лотосы и рыбы, с пальмами и тамариском, отбрасывающими резкую, благодатную тень.

И люди.

Их было много — слуги, носильщики, придворные в тонких одеждах, музыканты с систрами и арфами, дети, бегущие между колоннами. Дворец жил, гудел, дышал — со своим особым ритмом, в котором церемония смешивалась с обычной человеческой суетой.

— Держись рядом, — сказал Хоремхеб, не оборачиваясь. — И не показывай удивления. Здесь это считают слабостью.

— Я учительница, а не дипломат, — пробормотала Милана.

— Сегодня ты жрица Хатхор, — ответил он. — Постарайся соответствовать хотя бы внешне.

Тронный зал поражал размерами — высокий потолок, расписанный звёздами на синем фоне, колонны, уходящие вверх и теряющиеся в полумраке, ряды придворных вдоль стен, замерших в почтительном молчании.

В конце зала, на возвышении, стоял трон.

Фараон оказался не таким, как представляла Милана по фильмам и книжкам — не величественным гигантом, а по-

жилым, худым человеком с усталым лицом и тяжёлыми, мудрыми глазами. Корона на его голове казалась слишком большой для исхудавшей шеи. Болезнь — Милана поняла это сразу, как понимает любой, кто хоть раз видел тяжело больного человека, — была написана на его лице яснее любых иероглифов.

Но взгляд оставался острым.

— Подойди, — сказал фараон, и голос его, хотя слабый, всё ещё хранил привычку повелевать.

Милана подошла, остановилась на расстоянии, которое подсказал ей лёгкий жест Небвера, стоявшего у трона. Поклонилась — не низко, инстинктивно сохраняя достоинство, которое требовалось её роли.

Фараон смотрел на неё долго.

— Небвер говорит, ты говоришь на нашем языке, — сказал он наконец.

— Да, мой повелитель, — ответила Милана.

— И ты пришла из воды.

— Я не помню, как пришла, — сказала она честно. — Только что оказалась на берегу Нила.

В зале прошёл тихий гул — придворные не ожидали такой прямоты. Фараон чуть наклонил голову, и в его глазах появилось что-то похожее на интерес — не благоговейный, а человеческий.

— Честность, — сказал он. — Редкая гостья при дворе. — Он посмотрел на Небвера. — Она прошла испытание?

— Прошла, мой повелитель. Видение было настоящим. Фараон снова посмотрел на Милану.

— Тогда добро пожаловать, дочь Хатхор, — сказал он. — Египет нуждается в твоей помощи больше, чем ты можешь представить.

После приёма был пир — не такой грандиозный, как, наверное, бывал при настоящих торжествах, но обильный: блюда с мясом, рыбой, фруктами, кувшины с пивом и вином, музыканты, играющие что-то тягучее и завораживающее на арфах и систрах.

Милана сидела за отдельным столом — почётным, но немного в стороне, как и положено гостю, чей статус ещё не до конца определён в дворцовой иерархии. Хоремхеб сидел недалеко, занятый разговором с группой военных — судя по жестам, что-то связанное с продвижением войск или укреплениями.

Именно там она впервые увидела Аменхотепа.

Он подошёл сам — высокий мужчина средних лет, в дорогих одеждах, с тяжёлыми золотыми браслетами и тем особым выражением лица, которое отличает людей, давно привыкших, что их слово имеет вес. Улыбка у него была безупречной — отточенной, как у политика, который улыбается чаще, чем чувствует.

— Дочь Хатхор, — сказал он, садясь напротив без приглашения, что само по себе было заявлением. — Какая честь видеть вас при дворе.

— Благодарю, — сказала Милана осторожно.

— Аменхотеп, главный советник фараона. — Он сделал лёгкий жест рукой, словно представление было не более чем формальностью. — Позвольте сказать прямо, без церемоний: я очень внимательно слежу за всем, что касается благополучия Египта. И ваше появление — событие, требующее... тщательного изучения.

— Изучения чего? — спросила Милана.

Аменхотеп улыбнулся шире.

— Не обижайтесь на старого слугу престола за осторожность, — сказал он. — Пророчества — вещь хрупкая. Иногда за ними скрывается рука богов. А иногда — рука врагов, которые знают, как обратить веру народа против самого народа.

— Вы намекаете, что я обманщица?

— Я ничего не намекаю. — Он развёл руками с видом оскорблённой невинности. — Я просто наблюдаю. Это моя работа. — Он помолчал, глядя на неё с той внимательностью, с которой смотрят на дорогую и не до конца понятую вещь. — Скажите, дочь Хатхор: вы знаете, чем заканчиваются для Египта периоды, когда жрецы получают больше власти, чем советники фараона?

— Не знаю, — сказала Милана прямо.

— Беспорядком, — сказал Аменхотеп тихо. — Хаосом. Каждый раз. — Он встал, отвесил безупречный поклон. — Берегите себя, дочь Хатхор. Двор фараона — место, где даже

благие намерения иногда заканчиваются плохо.

Он ушёл, оставив после себя ощущение, похожее на холодок от внезапного сквозняка в жаркой комнате.

— Не обращай внимания, — сказал Хоремхеб, садясь на освободившееся место. Он, видимо, наблюдал разговор издалека. — Аменхотеп говорит так со всеми, кто может потеснить его влияние.

— А я могу его потеснить?

— Жрецы получают власть фараона, если пророчество подтверждено окончательно, — сказал Хоремхеб. — Это значит, что советники получают её меньше. Аменхотеп тридцать лет строил своё положение при дворе. Он не отдаст его без борьбы.

— Это опасно для меня?

Хоремхеб посмотрел на неё прямо.

— Всё, что касается власти, опасно, — сказал он. — Но да. Будь осторожна с тем, что ешь, с кем говоришь, и не оставайся одна в незнакомых частях дворца.

— Звучит обнадеживающе.

— Я не обещал тебе спокойной жизни жрицы, — сказал он, и в его голосе было что-то похожее на улыбку, хотя лицо оставалось серьёзным. — Я обещал, что приду на испытание. Я пришёл.

Они помолчали. Музыка играла где-то поблизости — медленная, тягучая мелодия, в которой угадывалась тоска по чему-то, что трудно назвать.

— Расскажи мне о войне, — сказала Милана. — Небвер упоминал. Враги с севера.

Лицо Хоремхеба изменилось — стало жёстче, серьёзнее, без следа лёгкости.

— Хетты, — сказал он. — Старые враги. В последние годы их армия растёт, а наши границы на севере держатся на истощающихся силах. Отец стар и болен. Когда он умрёт, начнётся борьба за трон — и хетты выберут этот момент для удара. Они умеют ждать слабости.

— А пророчество говорит, что я должна помочь это остановить?

— Пророчество говорит про равновесие между мирами, — сказал Хоремхеб. — Что это значит на самом деле — не знает никто, даже Небвер. Может, твоё присутствие даёт народу веру, в которой он нуждается перед войной. Может, что-то большее. — Он посмотрел на неё. — А может, ничего из этого, и ты просто женщина, которую вынесло на наш берег странной волей судьбы.

— Утешительная мысль, — сказала Милана с лёгкой иронией.

— Я не привык утешать, — сказал он просто. — Я привык говорить, что есть.

Что-то в этой прямоте — резкой, неприкрашенной, лишённой и придворной лести, и жреческого благоговения — трогало Милану сильнее, чем она готова была признать.

— Знаешь, — сказала она, — ты первый человек здесь,

который разговаривает со мной как с человеком, а не как с символом.

Хоремхеб посмотрел на неё долго.

— Может, потому что я не уверен, что разница между этими двумя вещами так уж велика, — сказал он тихо. — Может, ты и то, и другое.

Он встал, прежде чем она успела ответить.

— Идём, — сказал он. — Я провожу тебя в покои. Во дворце по ночам опасно бродить — особенно тем, у кого слишком много завистников.

Они пошли через зал, и Милана чувствовала на спине взгляды — десятки взглядов: восхищённые, любопытные, и среди них — один, холодный и расчётливый, принадлежавший человеку, который улыбался слишком часто, чтобы этой улыбке можно было верить.

Аменхотеп смотрел им вслед из дальнего угла зала, и на его лице, когда никто не видел, не было ни тени улыбки.

Глава 10

«Допрос, который превратился в правду»



Покои, отведённые Милане, были на втором этаже дворца — небольшая комната с видом на тихий внутренний сад. Между деревьями поблёскивала вода небольшого пруда, а вечерний ветер едва шевелил густую листву. Ночью сад ме-

нялся: дневная зелень становилась тёмной, почти чёрной, а вода в пруду отражала звёзды так чисто, что казалась отдельным небом, упавшим на землю.

Милана сидела у открытого окна, не в силах уснуть.

День был слишком насыщенным, чтобы тело согласилось остановиться: фараон, советник с его улыбкой-маской, пир, музыка, десятки взглядов, среди которых она с трудом отличала любопытство от вражды. День оставил после себя столько впечатлений, что сознание никак не могло обрести покой — как бывает после трудного экзамена, когда всё уже закончилось, а мысли продолжают возвращаться к каждому ответу.

За окном раздались шаги.

Она не вздрогнула — кажется, уже привыкла к тому, что мир здесь полон неожиданных появлений.

— Не спишь, — сказал Хоремхеб. Не вопрос — наблюдение.

Он стоял у входа в сад, в простой одежде, без оружия — впервые она видела его без наручей воина, и от этого он казался моложе, человечнее.

— Не могу, — призналась Милана. — Слишком много всего за один день.

— Могу присесть? — Он указал на скамью у пруда.

— Это твой дворец, — заметила она. — Странно спрашивать разрешения у гостыи.

— У жрицы Хатхор есть привилегии, — сказал он, садясь.

— Даже от сына фараона.

Они помолчали. Вода в пруду тихо шевелилась — едва заметно, от ночного ветра, и звёзды в ней дробились и собирались заново.

— Я пришёл не просто поговорить, — сказал Хоремхоб наконец. — Хочу задать тебе вопросы. Не для двора, не для Небвера. Для себя.

— Допрос?

— Если хочешь — называй так.

Милана посмотрела на него.

— Хорошо, — сказала она. — Спрашивай.

— Кто ты на самом деле? — спросил он первым.

Прямой вопрос, без обходных путей — как и всё в нём.

Милана подумала, прежде чем ответить.

— Учительница, — сказала она. — В моём времени, в моём мире. Я учу детей литературе. У меня есть подруга, квартира, привычки, которые мне самой не всегда нравятся. Я не жрица и не богиня. Я просто оказалась здесь — и сама не понимаю, как и почему.

— Но скарабей выбрал тебя.

— Видимо.

— Это ничего не значит?

— Значит, наверное, что-то значит, — сказала Милана с лёгкой усмешкой. — Но я не знаю, что именно. Я каждый день надеюсь, что пойму чуть больше, чем вчера.

Хоремхоб посмотрел на воду.

— Я не верю в богов, которые выбирают людей наугад, — сказал он. — Если ты здесь — значит, есть причина. Просто мы её не знаем.

— Звучит как утешение.

— Я предупреждал, что не умею утешать.

Она тихо улыбнулась — впервые с момента приземления в этом мире улыбка вышла лёгкой, без напряжения.

— Тогда позволь мне спросить тебя, — сказала она. — Почему ты пришёл на испытание? Скажи мне правду.

Хоремхеб молчал долго. Достаточно долго, чтобы Милана поняла: ответ есть, просто его трудно произнести.

— Потому что я устал, — сказал он наконец. — Устал от советников с их интригами, от жрецов с их пророчествами, которые удобно объясняют всё, что им выгодно. Я солдат. Я верю в то, что вижу — мечи, стены, людей, которые держат слово или не держат его. — Он посмотрел на неё. — А ты появилась — необъяснимо, без объяснений, без выгоды для себя. И я хотел увидеть: ты обман, как все остальные здесь, или ты настоящая.

— И что ты увидел?

— Я увидел человека, который вошёл в темноту, не зная, выживет ли, — сказал он тихо. — Это нельзя сыграть.

— Расскажи мне о себе, — попросила Милана. — Не про военачальника. Про человека.

Хоремхеб чуть нахмурился — видимо, такой вопрос задавали ему нечасто.

— Что ты хочешь знать?

— Всё, что захочешь рассказать.

Он посмотрел на пруд.

— Моя мать умерла, когда мне было десять лет, — сказал он наконец. — Вторая жена фараона, не главная — поэтому я не наследник трона, никогда не был и не буду. Меня растили военные наставники, не дворцовые учителя. Я раньше научился держать копье, чем читать папирусы.

— Это тебя злит?

— Раньше злило, — сказал он. — Теперь я думаю иначе. Трон — это клетка из золота. Я видел, как отец медленно умирает под её весом — каждый день, годами, окружённый людьми, которые улыбаются ему в лицо и считают дни до его смерти за спиной. — Он покачал головой. — Я предпочитаю поле боя. Там хотя бы враг честен в своей враждебности.

Милана смотрела на него — на этого человека, который говорил о смерти отца и предательстве двора с тем же спокойствием, с каким говорил бы о погоде, но в глазах его, если смотреть внимательно, пряталось что-то гораздо более глубокое, чем он позволял увидеть окружающим.

— Тебе одиноко, — сказала она. Не вопрос. Наблюдение — то же самое, каким он начал разговор.

Хоремхеп посмотрел на неё резко — как будто она задела что-то, спрятанное глубоко.

— Возможно, — сказал он после паузы. — Я не привык, чтобы это замечали.

— Я учительница, — сказала Милана мягко. — Я очень часто смотрю на детей и вижу, кто из них одинок, даже когда они смеются громче всех. Это профессиональная деформация.

— Ты считаешь меня ребёнком? — В его голосе была тень иронии.

— Я считаю, что одиночество не зависит от возраста, — сказала она. — Только от того, есть ли рядом кто-то, с кем можно быть самим собой.

Хоремхеб долго молчал.

— А ты? — спросил он наконец. — Ты одинока? Там, в своём мире?

Вопрос застал её врасплох — она ожидала чего угодно, но не такой прямоты в ответ.

— Да, — сказала она тихо, удивившись собственной честности. — Наверное, да. У меня есть подруга, работа, которую я люблю. Но что-то всегда было... не на месте. Как будто я жду чего-то, чего сама не могу назвать.

— И что ты ждала?

Милана посмотрела на него — на это резкое, открытое лицо в свете звёзд, отражённых в водах пруда.

— Не знаю, — сказала она честно. — Может, узнаю здесь.

Они сидели молча — но это молчание было другим, чем то, с которого начался разговор. Не напряжённым, не выжидающим. Спокойным. Таким, какое бывает между людьми, которые только что сказали друг другу что-то важное и те-

перь дают этому осесть.

— Знаешь, что странно? — сказал Хоремхеб наконец.

— Что?

— Я знаю тебя меньше двух дней. А чувствую, как будто...

— Он замолчал, словно сам не верил тому, что собирался сказать.

— Как будто? — подтолкнула Милана тихо.

— Как будто узнаю что-то, что давно забыл, — сказал он.

— Глупо звучит.

— Не глупо, — сказала она. — Я чувствую то же самое.

Их взгляды встретились — и на этот раз ни один не отвёл глаз первым.

В этой тишине, среди звёзд, упавших в воды пруда, и запаха ночных цветов, было что-то хрупкое и новое — то, что ещё не имело названия, но уже не могло быть незамеченным.

Хоремхеб первым нарушил момент — встал, слишком быстро, как человек, испугавшийся собственных чувств.

— Тебе нужно отдохнуть, — сказал он. — Завтра двор будет следить за каждым твоим шагом. Аменхотеп не оставит тебя в покое.

— Спасибо, что пришёл, — сказала Милана, тоже вставая.

Он кивнул, на секунду задержал взгляд на её лице — дольше, чем требовалось для простого прощания, — и пошёл к выходу из сада.

У двери он обернулся.

— Дочь Хатхор, — сказал он, и в его голосе было что-то

новое — мягкость, которой не было раньше.

— Да?

— Меня зовут Хоремхеб, — сказал он. — Не сын фараона. Не военачальник. Просто Хоремхеб. Запомни это.

Он ушёл.

Милана осталась одна в саду, глядя на пруд, где звёзды продолжали свой тихий, бесконечный танец.

Скарабей на её груди был тёплым — но не таким, как в момент перехода. Теперь его тепло было тихим и ровным, словно откликалось на что-то, что только начинало зарождаться в её сердце.

Она прижала ладонь к амулету и долго смотрела на ночное небо — на звёзды, которые через три тысячи лет станут совсем другим небом, над совсем другим морем.

— Хоремхеб, — повторила она тихо, пробуя имя на вкус.
— Запомню.

Глава 11

«Иероглифы, ладан и привыкание к чужому небу»



Утро начиналось с пения жриц — низкого, протяжно-

го, на грани между молитвой и музыкой. Милана научилась узнавать гимн Хатхор по первым нотам и просыпалась раньше будильника, которого здесь не существовало — просто тело подстроилось под ритм этого мира быстрее, чем разум успевал это осознать.

Небвер взял на себя её обучение — терпеливо, методично, как учитель, у которого ученица способная, но из совершенно другого мира.

— Ты говоришь на нашем языке, — сказал он в первый день занятий, — но не знаешь письма. Это нужно исправить.

— Зачем? Если я понимаю речь и так.

— Потому что жрица, которая не умеет читать священные тексты, вызывает вопросы, — сказал он спокойно. — А вопросы при дворе — это опасно.

Милана взяла тростниковую палочку.

Иероглифы оказались сложнее, чем она представляла по школьным учебникам — не просто картинки, а целая система, в которой один знак мог быть и буквой, и словом, и подсказкой к произношению, а порядок чтения зависел от направления, в котором смотрели изображённые птицы и звери.

— Почему сова смотрит влево? — спросила Милана, разглядывая папирус.

— Потому что текст читается справа налево, — терпеливо объяснил Небвер. — Если бы он смотрел вправо, читали бы слева направо.

— Это очень... неэффективная система.

— Это система, проверенная двумя тысячами лет, — сказал Небвер с тенью улыбки. — Возможно, ваша эффективность — просто другое слово для нетерпения.

Милана улыбнулась.

Дни занятий шли один за другим — и постепенно знаки на стенах храма, которые в первый день казались просто красивым узором, начали складываться в смысл. Она читала имя Хатхор, узнавала символ жизни — анх, начинала различать царские картуши. Это было похоже на то чувство, которое она помнила по своим первым годам учительства — когда ребёнок, с трудом складывавший буквы, вдруг сам, без подсказки, читает целое слово, и в его глазах вспыхивает восторг открытия.

Только теперь этим ребёнком была она сама.

Ритуалы оказались сложнее иероглифов.

Жрица Мерит — та самая, с огромными тёмными глазами, что принесла ей одежду в первый день, — взяла на себя обучение церемониям. Терпения у неё было меньше, чем у Небвера, но искренности — больше.

— Не так, — говорила она, поправляя положение рук Миланы во время утреннего ритуала очищения. — Сistr держат вот так, у бедра, не у груди. Ты не баюкаешь его, ты приветствуешь богиню.

— Прости, — говорила Милана, перехватывая инструмент. — В моём мире нет систров.

— В твоём мире нет вообще ничего полезного, судя по тому, как ты держишь сistr, — фыркала Мерит, но без злобы — скорее с той дружеской насмешкой, которая возникает между людьми, проводящими много времени вместе.

Постепенно между ними завязалось что-то похожее на дружбу — Мерит оказалась младше Миланы лет на пять, выросла при храме с детства и знала о дворцовых интригах больше, чем положено знать простой жрице.

— Аменхотеп вчера снова спрашивал про тебя, — сказала она однажды, расчёсывая Милане волосы перед вечерней церемонией. — У стражи, у служанок. Хочет знать, с кем ты говоришь, что ешь, куда ходишь.

— Зачем ему это?

— Затем, что информация — это оружие, — сказала Мерит серьёзно. — А ты для него — угроза, пока он не поймёт, как тебя использовать или как от тебя избавиться.

Милана почувствовала холодок.

— Ты говоришь это так спокойно.

— Потому что выросла при дворе, — пожала плечами Мерит. — Привыкла. — Она помолчала, потом добавила тише: — Будь осторожна с финиками, которые тебе приносят не от моего имени. Я слышала разговоры.

Это было первое прямое предупреждение — и Милана приняла его всерьёз.

Запахи, звуки, тяжесть жары — всё то, что в первые дни казалось ошеломляющим, оглушительным, требующим по-

стоянного внимания, постепенно становилось фоном, привычной тканью жизни.

Милана научилась узнавать время дня по углу света, падающего через высокие окна храма. Научилась различать жриц по голосам ещё до того, как видела их лица. Научилась есть финики и лепёшки руками, без неловкости, которая мучила её первую неделю. Запах ладана, который сначала казался густым до тошноты, стал просто запахом дома.

Дома, — поймала она себя на этой мысли однажды вечером, сидя у окна с видом на Нил.

Слово пришло само, без усилия, и от этого было особенно тревожно.

Иногда, в редкие свободные минуты, она садилась с папирусом и тростниковой палочкой и писала — не молитвы, не ритуальные тексты, а просто слова. По-русски — буквы здесь никто не мог прочесть, и это давало странное чувство свободы, как дневник, который точно никто не подсмострит.

«Девятый день», — писала она. — «Учусь читать иероглифы лучше, чем читала их в музее на школьной экскурсии. Учусь держать сistr. Учусь не вздрагивать, когда меня называют дочерью богини. Соня, если ты это когда-нибудь прочитаешь — что вряд ли, — знай: я не сошла с ума. Или сошла, но очень методично, по плану, с домашними заданиями».

Она остановилась, посмотрела на следующую строку, которую собиралась написать, и долго не решалась.

«Здесь есть человек. Военачальник. Хоремхеб. Я не знаю, что между нами происходит, но это что-то, чего я не чувствовала очень давно. Может, никогда».

Она перечитала строку.

Потом, чуть подумав, добавила:

«Это глупо. Я здесь временно. Я должна вернуться. Но скарабей молчит насчёт того, когда именно. А я, кажется, не так уж сильно тороплю события».

Конфликт внутри неё не утихал — он жил параллельно с привыканием, не вытесняясь, а просто соседствуя с ним, как два голоса, говорящие одновременно.

Один голос — разумный, осторожный, тот самый, что напоминал про незаполненные журналы и испуганную Соню — говорил: это не твоя жизнь. Ты должна найти способ вернуться. Каждый день привыкания — это день, который ты крадёшь у себя настоящей.

Другой голос — тише, но всё настойчивее — говорил: а что, если здесь и есть твоя настоящая жизнь? Что, если там, в твоём времени, ты просто терпела существование, а здесь — впервые живёшь?

Этот второй голос пугал её больше первого.

Вечером того же дня, возвращаясь из храма во дворец по садовой дорожке, она встретила Хоремхеба — он шёл навстречу в сопровождении двух воинов, что-то обсуждая на ходу с серьёзным лицом, но увидев её, отпустил спутников коротким жестом.

— Как продвигается учение? — спросил он, останавливаясь рядом.

— Я умею читать имя Хатхор и держать сistr так, чтобы Мерит не закатывала глаза, — сказала Милана. — Прогресс налицо.

В уголках губ Хoremхеба появилась лёгкая усмешка — редкая и неожиданно тёплая.

— Через месяц ты будешь знать наши обряды лучше половины придворных жрецов, — сказал он.

— Через месяц, — повторила Милана медленно. — Ты думаешь, я буду здесь через месяц?

Вопрос вышел серьёзнее, чем она хотела. Хoremхеб посмотрел на неё внимательно.

— А ты сама как думаешь? — спросил он тихо.

Милана не ответила. Просто смотрела на Нил, блестящий за деревьями сада, и чувствовала, как два голоса внутри неё спорят всё громче — без надежды на скорое примирение.

— Я не знаю, — сказала она наконец честно. — И это самое страшное. Хoremхеб не сказал ничего утешительного. Он просто стоял рядом — молча, твёрдо, как человек, способный быть опорой без лишних слов — и этого, как ни странно, оказалось достаточно.

Глава 12

«Когда страх обретает имя»



Новость пришла утром, с гонцом, покрытым пылью дороги — лошадь под ним была загнана почти до изнеможения, а сам всадник едва держался в седле от усталости. Хетты перешли границу на севере.

Дворец, который ещё накануне жил своим обычным неторопливым ритмом, в одно утро превратился в растревоженный муравейник. Военные советники собирались в зале совещаний, гонцы сновали туда-сюда, во дворе строились отряды — Милана слышала их шаги и команды через открытое окно своих покоев, и звук этот был совсем другим, чем мирные звуки последних недель.

Она нашла Хоремхеба в оружейной — он проверял снаряжение, отдавал короткие распоряжения слугам, и лицо его было сосредоточенным и закрытым, как захлопнувшаяся дверь.

— Это серьёзно? — спросила она, останавливаясь в дверях.

Он поднял глаза — на секунду что-то мягкое мелькнуло в его взгляде, но тут же исчезло, уступив место деловой сосредоточенности.

— Серьёзно, — сказал он, не тратя слов на смягчение правды. — Хетты не просто прощупывают границу. Это полноценное вторжение. Я выступаю с войском завтра на рассвете.

Земля под ногами Миланы как будто чуть качнулась.

— Завтра, — повторила она.

— Промедление будет стоять дороже, чем спешка, — сказал он, проверяя ремень на наруче. — Если мы не остановим их у границы, через две недели они будут стоять под стенами столицы.

— А если ты не остановишь их у границы? — спросила она тихо. — Что будет с тобой?

Хоремхеб остановился. Посмотрел на неё прямо.

— Тогда я не вернусь, — сказал он просто, без рисовки, без попытки смягчить. — Война не делает исключений для тех, кого любят дома.

Слово повисло в воздухе — он сказал его впервые, и оба, кажется, слышали его одновременно: любят.

Весь день дворец готовился к выступлению войска.

Милана впервые увидела египетскую армию не на росписях храмовых стен, а живую — колесницы, выстроенные рядами, лучники, проверяющие тетивы, пехотинцы с копьями и щитами из твёрдой кожи. Лошади ржали, пыль поднималась столбами, командиры выкрикивали приказы, и во всём этом была организованная, отточенная веками сила, которую Милана раньше не замечала за пышностью дворцовых церемоний.

Это были живые люди. У многих из них были жёны, дети, матери, которые сейчас стояли у окон и смотрели на этот же двор с тем же страхом, что и она.

Война больше не была абстракцией из учебника истории. Она была завтрашним рассветом.

Вечером Небвер нашёл её в саду — она сидела у пруда, не в силах ни читать, ни заниматься ритуальными текстами, просто смотрела на воду, в которой, как и в прошлый раз, отражались первые вечерние звёзды.

— Ты беспокоишься, — сказал он, садясь рядом без приглашения.

— Это так заметно?

— Жрица Хатхор, забывшая про вечернюю молитву, — заметная редкость, — сказал он мягко.

Милана не нашла сил для улыбки.

— Скажи мне честно, — попросила она. — Ты видишь будущее? Знаешь ли что-то, что может мне помочь?

Небвер вздохнул — устало, по-человечески, без той величественной отстранённости, с которой он держался при дворе.

— Я не вижу будущее, — сказал он. — Я вижу только то, что показывают видения, а они не отвечают на вопросы напрямую. Я не знаю, вернётся ли Хоремхеб с войны живым.

— Это не помогает.

— Я знаю, — сказал он просто. — Но ложь помогла бы тебе ещё меньше.

Они сидели молча. Вода в пруду чуть рябила от ветра.

— Можно спросить тебя кое-что, чего я не спрашивала раньше? — сказала Милана.

— Спрашивай.

— Почему ты так уверен, что я — та самая жрица из пророчества? Что, если ты ошибся, и я просто женщина, попавшая сюда случайно, без всякого великого предназначения?

Небвер посмотрел на неё долго.

— Даже если ты права, — сказал он наконец, — это не

освобождает тебя от того, что происходит с тобой сейчас. Пророчества не делают чувства менее настоящими. И страх потерять того, кого любишь, не становится меньше от того, веришь ли ты в богов.

Это было не утешением в привычном смысле. Но это было правдой — а правда, как Милана уже успела понять в этом мире, ценилась здесь больше всего.

Ночью, перед самым рассветом, в дверь её покоев тихо постучали.

Хоремхеб стоял на пороге — уже в полном воинском облачении, с мечом на поясе, с тем сосредоточенным, далёким выражением лица, которое появляется у людей перед тем, как они уходят туда, откуда не все возвращаются.

— Я не мог уйти, не увидев тебя, — сказал он тихо.

Милана подошла к нему — близко, ближе, чем позволяла себе раньше.

— Возвращайся, — сказала она, и голос дрогнул сильнее, чем она хотела показать. — Просто возвращайся. Я не прошу о победах и подвигах. Просто — вернись.

Хоремхеб посмотрел на неё долго — и в этом взгляде было всё то, что слова не успевали вместить: нежность, страх, упорство, и что-то третье, древнее, для которого ни у него, ни у неё пока не было точного имени.

— Я постараюсь, — сказал он. — Это всё, что я могу обещать честно.

Он коснулся её щеки — коротко, осторожно, как касаются

чего-то очень ценного и очень хрупкого. — Дождись меня, — сказал он. — Не уходи в свой мир, пока я не вернусь. Прошу тебя. — Я не знаю, как уйти, даже если бы хотела, — сказала Милана с горькой полуулыбкой. Хоремхеб не отстранился. Его рука осталась на её щеке — тёплая, чуть шероховатая от тренировок с мечом и копьём, и в этом прикосновении было больше нежности, чем во всех придворных церемониях, что Милана видела за последние недели. — Тогда позволь мне взять с собой хоть что-то стоящее, — сказал он тихо. — Что-то, ради чего точно стоит вернуться живым. Милана подняла на него глаза. — Что ты имеешь в виду? Вместо ответа он наклонился — медленно, словно давая ей время отстраниться, если она захочет. Она не захотела. Поцелуй был коротким — но в этой краткости было сосредоточено всё то напряжение, что копилось между ними недели: его сдержанность военного, привыкшего держать чувства под замком, и её растерянность человека из другого мира, который давно не позволял себе хотеть кого-то так сильно. Губы у него были тёплыми и немного солёными — от пыли, от усталости долгого дня подготовки к походу. Милана почувствовала, как у неё подгибаются колени — не театрально, а по-настоящему, физически, как будто тело вдруг забыло, как держать равновесие без опоры. Она обняла его — обеими руками, крепко, прижимаясь к нагруднику доспеха, который был холодным и твёрдым в противовес теплу его кожи у шеи. Он ответил тем же — одна рука легла на её спину, прижимая бли-

же, вторая осталась на щеке, большим пальцем чуть касаясь скулы, как будто он запоминал наощупь черты её лица перед долгой разлукой. Поцелуй стал глубже — не торопливым, а таким, в котором чувствовалась вся накопленная нежность, которую оба прятали за разговорами о пророчествах, войне и долге. Милана забыла на секунду про скарабея, про чужое время, про Соню и дайвинг-клуб где-то за горизонтом тысячелетий. Был только он — его руки, его дыхание, смешавшееся с её собственным, и оглушительная, нелогичная уверенность, что это самое настоящее, что случилось с ней за очень долгое время. Когда они наконец отстранились, оба тяжело дышали — не от долготы поцелуя, а от того, сколько в нём было сказано без слов. — Это, — сказал Хоремхлеб тихо, всё ещё не отпуская её, — ради этого точно стоит вернуться. Милана прижалась лбом к его плечу — туда, где доспех уступал место просто коже, тёплой и мягкой. — Тогда возвращайся, — прошептала она. — Это приказ жрицы Хатхор, если хочешь официально. Хоремхлеб тихо усмехнулся. — Подчиняюсь, — сказал он.

Хоремхлеб развернулся и пошёл прочь. Шаги звучали ровно и уверенно, и с каждым из них расстояние между ними становилось всё больше. Он так и не оглянулся — не потому, что не хотел, а потому, что боялся не найти в себе сил уйти.

Глава 13

«Финики, которые не стоило есть»



Дворец без Хоремхеба стал другим — тише, но не спокойнее. Тишина была настороженной, как перед бурей, и Милана с каждым днём всё яснее чувствовала, что эта настороженность направлена в том числе и на неё.

Пять дней минуло с того утра, когда войско выступило на

север. С границы не поступало никаких известий. Небвер говорил, что так бывает всегда: гонцы возвращаются не раньше чем через две недели, а молчание ещё не предвещает несчастья. Милана пыталась в это верить. Получалось не всегда.

Она проводила дни за учёбой и ритуалами — это, по крайней мере, занимало руки и часть мыслей. Но всё чаще ловила себя на том, что прислушивается к звукам со двора, ожидая топот лошади гонца раньше срока.

Мерит нашла её на закате, в маленьком внутреннем дворике храма — взволнованную, без обычной насмешливой лёгкости в лице.

— Тебе нужно кое-что знать, — сказала она тихо, оглядываясь, прежде чем заговорить. — Сегодня утром в твои покои приносили финики. Не от храма. Не от кухни дворца.

Милана похолодела.

— От кого?

— Слуга сказал, что от имени фараона — особый дар больной жрице, чтобы поддержать силы перед важными церемониями. — Мерит понизила голос почти до шёпота. — Я проверила. Фараон никому не давал такого распоряжения.

— Ты думаешь, это Аменхотеп?

— Я думаю, что ты не должна была их есть, — сказала Мерит. — И я очень рада, что служанка, которая их принесла, побоялась входить без разрешения и оставила корзину у входа, а не отдала прямо тебе в руки. Иначе сейчас был бы другой разговор.

Милана почувствовала, как земля под ногами становится менее устойчивой, чем обычно.

— Где эта корзина сейчас?

— У меня. Я отдала её придворному лекарю — тайно, без объяснений. Он проверит.

Лекарь — старик с тяжёлыми, пронизательными глазами и руками, изуродованными годами растирания трав, — пригласил Милану и Мерит в свою комнату на закате, когда дворец уже погружался в вечернюю суету и никто не заметил бы лишнего визита.

— Яд, — сказал он коротко, кладя на стол перед ними финик, разрезанный пополам. Внутри, на тёмной мякоти, виднелся тончайший слой светлого порошка, почти невидимого глазу. — Не сразу убивающий. Медленный. Тот, что вызывает слабость, спутанность мыслей, видения, которые легко принять за гнев богов.

— Зачем медленный? — спросила Милана, чувствуя, как голос дрожит. — Почему не сразу?

— Потому что жрица Хатхор не может умереть слишком быстро, — спокойно произнёс лекарь. — Это заставило бы многих задуматься. Он говорил об этом без тени волнения — так же буднично, как иной мастер рассуждает о свойствах дерева или камня.

— А медленное помешательство, спутанность речи, странное поведение — это легко объяснить гневом богини, не принявшей фальшивую избранницу. Народ бы сам отвер-

нулся от тебя, без всякого насилия со стороны двора.

Мерит побледнела.

— Это значит, что кто-то готовился заранее, — сказала она. — Это не порыв. Это план.

— Это значит, — сказал лекарь, убирая разрезанный финик в тряпицу, — что вам обоим следует молчать об этом разговоре. Слишком многим выгодно, чтобы пророчество не подтвердилось окончательно.

Той же ночью Милана не могла уснуть — лежала, глядя в потолок, и прокручивала в голове разговор с лекарем снова и снова.

Кто-то готовился заранее.

Это означало, что угроза существовала с момента её появления — может быть, даже раньше. Это означало, что Аменхотеп — или кто-то ещё, прячущийся за его улыбкой, — не остановится на одной попытке.

Стук в дверь раздался тихо, но Милана вздрогнула так, как будто прогремел гром.

— Кто там? — спросила она, поднимаясь.

— Небвер, — раздался голос за дверью.

Она открыла. Жрец стоял на пороге с фонарём в руке, лицо его в неровном свете казалось ещё более усталым, чем обычно.

— Мерит рассказала мне, — сказал он, входя и закрывая за собой дверь. — Про финики.

— Что мне делать? — спросила Милана. Голос дрожал

сильнее, чем ей хотелось.

Небвер сел на скамью у окна, помолчал, собираясь с мыслями.

— Не есть ничего, что не пробовала Мерит или я лично, — сказал он. — Не оставаться одной в незнакомых частях дворца. И самое важное — не показывать страха.

— Почему?

— Потому что страх — это признание слабости, — сказал Небвер. — А слабых, по мнению Аменхотепа, легко устранить незаметно. Сильных — труднее, потому что их падение вызывает вопросы.

Милана опустилась на скамью рядом с ним.

— Я не воин, — сказала она тихо. — Я не умею играть в придворные игры.

— Ты не обязана играть в их игру, — сказал Небвер. — Тебе достаточно оставаться собой — честной, прямой, как ты держалась перед фараоном в первый день. Это пугает таких людей, как Аменхотеп, больше, чем любые интриги. Они не умеют бороться с тем, что не понимают.

Утром следующего дня Аменхотеп сам нашёл её — в храмовом саду, среди цветущего тамариска, с той же безупречной улыбкой, что и при первой встрече.

— Дочь Хатхор, — сказал он, отвешивая лёгкий поклон. — Вы выглядите немного бледной. Не заболели?

Милана посмотрела на него прямо — без той настороженности, которую он, видимо, ожидал увидеть.

— Нет, — сказала она спокойно. — Я в полном здравии. Спасибо за заботу.

Что-то едва заметно изменилось в его лице — лёгкая тень удивления, тут же спрятанная за привычной маской любезности.

— Рад это слышать, — сказал он. — При дворе ходят слухи о всяких неприятностях со здоровьем у тех, кто слишком быстро поднимается слишком высоко. Берегите себя, дочь Хатхор. Высота утомительна для непривычных.

— Я заметила, — сказала Милана, выдерживая его взгляд без дрожи. — Но, к счастью, у меня хороший лекарь. И хорошие друзья, которые проверяют то, что мне приносят.

Пауза.

Улыбка Аменхотепа не дрогнула — но в глазах на мгновение появилось что-то острое, расчётливое, как будто он пересчитывал что-то у себя в голове.

— Разумная предусмотрительность, — сказал он наконец. — Двор фараона — место, полное случайностей.

Он поклонился и ушёл, оставив после себя то же ощущение холода, что и в первый их разговор — но теперь Милана знала точно: это не было воображением.

— Ты сказала ему, что знаешь, — заметила Мерит, появляясь из-за колонны, где, видимо, наблюдала весь разговор. — Это смело. Или глупо.

— Может, и то, и другое, — сказала Милана, глядя вслед удаляющемуся советнику. — Но Небвер прав. Страх — это

то, чего он хочет от меня увидеть. Я не дам ему этого.

— А если он попробует снова? Не финики — что-то другое?

Милана посмотрела на Нил, блестящий за деревьями сада — спокойный, размеренный, равнодушный к человеческим интригам, которые тысячелетиями плелись на его берегах.

— Тогда я буду осторожнее, — сказала она. — Но я не уйду и не сломаюсь. Не сейчас.

Она сжала скарабея на груди — тёплый, живой, как всегда.

Где-то на севере, за горизонтом пустыни, шла война, исход которой был неизвестен. Здесь, во дворце, шла другая война — тихая, без мечей, но не менее опасная.

Милана решила, что готова к обеим.

Ночью, уже почти на грани сна, к ней пришло воспоминание — не своё.

Оно появилось не как сон и не как мысль, а как нечто, всплывшее из глубины, которой Милана прежде в себе не знала. Она увидела — на мгновение, размыто, как сквозь толщу воды — себя, стоящую перед алтарём в темноте, много раньше, в какой-то другой жизни, которая принадлежала не ей, а той, чьё имя было высечено в камне: та, что вернулась.

И в этом воспоминании была фраза — простая, ритмичная, как дыхание:

«Я — вода, которая не боится реки. Я — пламя, которое не боится тьмы. Смерть — не конец пути, а смена берега».

Милана произнесла её вслух, шёпотом, в темноте своей комнаты — и почувствовала, как страх, поселившийся в ней после разговора с лекарем, отступает, не исчезая полностью, но становясь меньше, тише, управляемым.

Это не было её знанием. Эта мантра принадлежала жрице, которая произносила её перед каждым опасным ритуалом, перед каждым испытанием, перед самой смертью — много раз, на протяжении многих жизней, накопленных в этих простых словах.

- Вспомни, — сказал голос в святилище.

Кажется, она начинала вспоминать.

Милана повторила фразу ещё раз — медленнее, вдумчивее, чувствуя, как каждое слово ложится не только на язык, но и куда-то глубже, в место, которое современная Милана-учительница никогда не знала в себе, а древняя жрица, видимо, знала всегда.

Яд Аменхотепа больше не казался таким страшным.

Не потому, что опасность исчезла — она была вполне реальна. А потому, что страх смерти, который всегда казался Милане абсолютным и непреодолимым, вдруг показался меньше, чем она сама. Меньше, чем то древнее знание, что текло в ней теперь вместе с кровью прежней жрицы.

Она уснула в эту ночь спокойнее, чем за все предыдущие дни — впервые чувствуя, что носит в себе не только страх,

но и оружие против него.

Глава 14

"Живой"



Милана была в храме — разбирала с Небвером очередной свиток, когда во дворе раздался топот копыт и крик стражи, пропускающей всадника. Она вышла раньше, чем Небвер успел её остановить — и увидела гонца, уже слезающего с лошади у главного входа во дворец.

— Что случилось? — спросила она у пробегающего мимо слуги.

— Вести с севера, госпожа, — бросил тот на ходу. — Войско возвращается.

— Все? — крикнула она ему вслед.

Слуга обернулся — на его лице было что-то, что нельзя было назвать ни радостью, ни горем.

— Не все, — сказал он тихо. — Но победа за нами.

Они вошли в город на третий день после гонца.

Милана стояла у ворот дворца среди жриц, придворных и простого народа, заполнившего улицы — пёстрая, шумная, радостная толпа, бросавшая под ноги воинам цветы и ветки пальм. Музыканты играли, дети кричали, женщины плакали — кто от радости, кто от горя, узнав, что муж или сын остался там, на севере, навсегда.

Колесницы, пехота, лучники. Пыльные, уставшие, но живые.

Милана смотрела на каждое лицо — и ждала.

Он появился в середине колонны — верхом, в доспехах, покрытых пылью долгой дороги. Лицо осунувшееся, с резкими тенями под глазами, но прямое и сосредоточенное, как всегда. На левом плече — перевязь из льняной ткани, пятно крови, потемневшей от времени.

Ранение.

Милана почувствовала, как что-то сжалось в груди — и одновременно отпустило. Ранен, но живой. Живой.

Хоремхеб ехал, глядя вперёд, — а потом его взгляд нашёл её в толпе. Сразу, без поиска — как будто знал заранее, где она стоит.

Он остановил коня.

На секунду — посреди движущейся колонны, под крики толпы, под музыку и пыль — они просто смотрели друг на друга через разделявшее их расстояние.

Милана выдохнула.

Живой.

Аудиенция у фараона заняла несколько часов — доклад о победе, потерях, положении границы. Милана ждала, не позволяя себе нервничать вслух, хотя Мерит, сидевшая рядом, несколько раз многозначительно косилась на её руки — Милана не замечала, что сжимает скарабея так крепко, что пальцы побелели.

— Расслабь руку, — шепнула Мерит.

Милана расслабила. Через минуту сжала снова.

— Ты влюблена, — констатировала Мерит без осуждения, скорее с нежным профессиональным интересом жрицы богини любви.

— Я беспокоюсь о военачальнике, вернувшемся с войны, — сказала Милана с достоинством.

— Это одно и то же, — сказала Мерит.

Возразить было нечего.

Он пришёл ночью.

Не сразу — сначала был пир, церемонии, доклады, всё то,

что полагается военачальнику в день победного возвращения. Но когда дворец наконец затих и даже самые упорные придворные разошлись по покоям, в дверь Миланы постукали — тихо, условным стуком, который она узнала сразу.

Она открыла.

Он стоял в дверях без доспехов — в простой льняной одежде, с перевязанным плечом. Лицо осунулось от усталости, будто она успела влиться в каждую его черту. Только глаза по-прежнему светились жизнью.

— Ты обещала дождаться, — сказал он.

— Я дождалась, — сказала Милана.

Она отступила, давая ему войти. Он прошёл в комнату, опустился на скамью у окна — медленно, с осторожностью человека, у которого болит то, о чём он не говорит.

— Плечо? — спросила Милана.

— Стрела, — сказал он коротко. — Лекарь зашил. Не смертельно.

— Я вижу.

Она подошла ближе, опустилась рядом — не напротив, а рядом, плечом к плечу — и взяла его руку, здоровую, правую. Просто взяла и держала, без слов, без объяснений.

Он не отнял.

Некоторое время они сидели молча — за окном шумел ночной Нил, звёзды отражались в пруду сада, откуда-то издалека доносился запах цветущего лотоса.

— Там было тяжело? — спросила она наконец.

— Да, — сказал он. — Хетты — серьёзный противник. Мы потеряли много людей. — Он помолчал. — Хороших людей.

— Прости.

— За что?

— За то, что они не вернулись.

Хоремхеб посмотрел на неё. В его глазах было что-то, чего она прежде не видела — не боль, не горе в привычном смысле, а та особая тяжесть, которая накапливается у людей, принимающих решения, от которых зависят чужие жизни.

— Это часть того, кем я являюсь, — сказал он тихо. — Я принимаю это. Но я не привык говорить об этом вслух.

— Тебе не нужно привыкать прямо сейчас, — сказала Милана. — Я просто здесь.

Он сжал её руку.

Позже — намного позже, когда ночь перевалила за середину, — Хоремхеб начал говорить.

Не про сражение — про людей. Про молодого воина из дельты Нила, который пел по ночам у костра так, что даже суровые ветераны замолкали и слушали. Про пожилого командира, которого дома ждали трое сыновей и жена, пекущая лучший хлеб на свете, как он говорил. Про мальчика-оруженосца, который боялся темноты, но не боялся хеттских стрел.

Милана слушала — не перебивая, не утешая, просто держа его руку и позволяя словам выходить наружу, туда, где им

было чуть легче существовать, чем внутри.

— Ты никогда не рассказываешь об этом другим? — спросила она, когда он замолчал.

— Некому, — сказал он просто. — Придворные хотят слышать о победе. Жрецы — о знаках богов. Воины — о следующем сражении. — Он посмотрел на неё. — Ты первая, кто спрашивает про людей, а не про исход битвы.

— Я учительница, — сказала Милана тихо. — Меня всегда интересовали люди, а не результаты.

Хоремхеб долго молчал.

— Мне тебя не хватало, — сказал он наконец. — Там, на севере. Это было неудобно и неуместно посреди войны, но это было так.

— Мне тебя тоже не хватало, — призналась Милана. — Это тоже было неудобно.

— Значит, мы квиты.

— Значит, квиты.

Они посмотрели друг на друга — и оба едва заметно улыбнулись, той особой улыбкой, которая бывает только между людьми, понимающими друг друга без лишних слов.

Перевязь на его плече размоталась — Милана заметила это, когда он потянулся за кувшином с водой.

— Дай посмотрю, — сказала она.

— Лекарь уже смотрел.

— Лекарь смотрел несколько часов назад. Дай.

Он повернулся, позволяя ей размотать повязку. Рана была

чистой — лекарь своё дело знал, — но глубокой, с аккуратными швами из тонкой нити. Ещё красная, но без признаков воспаления.

Милана перемотала повязку — осторожно, тщательно, как перематывают то, к чему боятся прикасаться слишком сильно, чтобы не сделать больно.

— Ты умеешь это, — заметил Хоремхеб, наблюдая за её руками.

— У меня тридцать два ученика, — сказала Милана. — Ссадины, порезы, разбитые носы. Всему учишься поневоле.

— В твоём мире дети разбивают носы?

— В моём мире дети разбивают всё что можно и некоторые вещи, которые, казалось бы, разбить невозможно.

Хоремхеб тихо засмеялся — негромко, немного хрипло от усталости, но искренне. Милана подняла голову и поняла, что смеётся вместе с ним — и что этот смех в ночи, над перевязанным плечом, среди запаха Нила и ладана, был, пожалуй, одним из самых лучших моментов за всё время в этом мире.

Она завязала последний узел повязки — и не убрала руки сразу. Просто на секунду оставила ладонь на его плече, чуть выше раны.

Он накрыл её руку своей.

— Я не знаю, что это между нами, — сказал он тихо. — Мне незнакомо это чувство.

— Я тоже не знаю, — сказала Милана честно. — Но это

что-то настоящее. Самое яркое, что у меня было за очень долгое время.

— Даже если ты когда-нибудь уйдёшь обратно?

Вопрос прозвучал тихо — но в нём было всё: и страх потерять, и попытка принять заранее, и надежда, что она скажет что-то, что сделает этот страх меньше.

Милана посмотрела на него — на это усталое, живое, дорогое ей лицо — и произнесла мантру. Не вслух. Внутри, тихо, как произносили её жрицы перед тем, чего нельзя изменить:

Я — вода, которая не боится реки. Я — пламя, которое не боится тьмы. Смерть — не конец пути, а смена берега.

— Даже если я уйду, — сказала она, — это не сделает то, что между нами, менее настоящим. Ни сейчас. Ни потом. Никогда.

Хоремхеб смотрел на неё долго.

Потом притянул её к себе — осторожно, бережно, помня о плече, — и она прижалась к нему, щекой к его здоровому плечу, слушая его дыхание и биение сердца, которое совсем недавно могло остановиться на северной границе под хеттскими стрелами.

Они просидели так до рассвета.

Не разговаривая. Просто — рядом.

За окном Нил тёк в темноте, неспешный и вечный, унося в своих водах всё то, что люди на его берегах не умели удержать — время, потери, расстояния между мирами, — и не

беря ничего взамен, кроме этой ночи.

Глава 15

«Рассвет, который нельзя остановить»



Хоремхеб выздоравливал медленнее, чем хотелось бы. Это его очень раздражало — Милана наблюдала, как он

сидит у окна с видом человека, которого заперли в клетке, пока весь остальной мир продолжает жить без него. Плечо заживало хорошо, лекарь был доволен, но строго запретил военные тренировки ещё на десять дней — и для Хоремхеба это было примерно тем же, что сказать рыбе отдохнуть от воды.

— Я могу ходить, — говорил он лекарю каждое утро.

— Ходить — можете, — невозмутимо отвечал тот. — Держать копье — нет.

— Я не собираюсь держать копье.

— Вы собираетесь держать копье, как только окажетесь во дворе, — говорил лекарь с многолетней усталостью человека, привыкшего лечить воинов. — Я вас знаю.

Хоремхеб смотрел на него с тем выражением, с каким смотрят на человека, который прав, но которому от этого не легче.

Милана, наблюдавшая эту сцену из угла комнаты, старалась не улыбаться слишком заметно.

Дни выздоровления стали их временем.

Не торжественным, не окружённым ритуальной значимостью — просто временем, которое выпало само собой, без спешки и посторонних. Утром Милана приходила к нему после храмовой молитвы — с кувшином холодного сока из граната и каким-нибудь свитком, который Небвер задал ей на разбор. Она сидела у окна и читала, он лежал на ложе или сидел рядом, и они то разговаривали, то молчали — и мол-

чание, и разговоры были одинаково лёгкими.

Он расспрашивал её о том мире, из которого она пришла — осторожно, как расспрашивают о стране, в которую никогда не попадёшь, но хочется представить.

— Расскажи мне про своих учеников, — попросил он однажды.

Милана от удивления засмеялась.

— Зачем тебе это?

— Ты упоминала их несколько раз, — сказал он. — Когда говоришь о них — у тебя другое лицо.

— Какое?

— Счастливое, — сказал он просто. Как у человека, вспоминающего что-то, что его по-настоящему занимало.

Милана посмотрела на него — на это внимательное, серьёзное лицо, которое замечало то, чего она сама в себе не видела.

— Их тридцать два, — сказала она. — Восьмой класс. Четырнадцать лет, самый сложный возраст — они уже не дети, но ещё не взрослые, и от этого очень злятся на всё вокруг. Читать не хотят. Думать не хотят. Хотят телефон и чтобы их оставили в покое.

— И ты их учишь несмотря на это?

— Я пытаюсь найти книгу, от которой они не смогут оторваться, — сказала Милана. — У каждого она своя. Это как ключ — нужно подобрать правильный. Иногда находишь, иногда нет. Но когда находишь...

Она замолчала, улыбаясь чему-то своему.

— Что происходит, когда находишь? — спросил Хоремхеб тихо.

— Видишь, как человек просыпается, — сказала она. — Не от сна — от себя. Понимаешь, что он только что открыл, что внутри него есть целый мир, о котором он сам не знал. — Она помолчала. — Ради этого стоит терпеть всё остальное.

Хоремхеб долго смотрел на неё.

— Ты хороший учитель, — сказал он наконец.

— Откуда ты знаешь? Ты не видел меня в классе.

— Потому что ты говоришь об учениках так, как хороший военачальник говорит о своих воинах — каждый важен, каждый отдельный человек, — сказал он. — Это редкость. В любом времени.

На шестой день выздоровления он наконец убедил лекаря разрешить прогулки в саду.

Они ходили вечерами — медленно, вдоль пруда, под пальмами, в том особом египетском закате, который казался Милане каждый раз немного нереальным: небо становилось тёмно-оранжевым, почти красным у горизонта, потом медленно переходило в лиловое, потом в синее, и всё это происходило так торжественно и неспешно, что хотелось просто стоять и смотреть, не двигаясь, пока не закончится.

Они говорили обо всём подряд.

О войне — он рассказывал про тактику, про хеттских колесничих, про то, как важна правильная позиция у реки. Она

слушала и понимала вдруг, что слушает не историческую лекцию, а человека, рассказывающего про свою работу, — и разница была огромной.

Он спрашивал про Соню — она рассказывала, смеясь, про гугл-переводчик и итальянца, который сравнил рыжие волосы с тосканским закатом.

— Это звучит как плохая поэзия, — заметил Хоремхеб.

— Это звучит как очень хорошее начало романа, — возразила Милана.

— Ваши романы начинаются с плохой поэзии?

— Лучшие — именно так.

Он засмеялся — уже привычнее, уже без той хрипоты усталости первых дней после возвращения.

На восьмой день лекарь снял швы и объявил, что через два дня плечо можно считать здоровым.

Хоремхеб принял это известие с облегчением, которое немедленно уступило место чему-то более сложному — Милана видела, как что-то изменилось в нём в тот вечер. Он стал тише, задумчивее, как будто выздоровление означало не только возвращение к тренировкам, но и конец чего-то другого, что появилось именно в эти дни.

Она понимала.

Понимала, потому что чувствовала то же самое.

На рассвете девятого дня она не пошла на утреннюю молитву.

Впервые за всё время — просто не пошла. Встала, оделась

и вышла в сад, пока дворец ещё спал и только птицы перекликались в тамариске, и дошла до берега Нила, который начинался сразу за садовой стеной.

Он уже был там.

Стоял у самой воды, в простой одежде, босиком на влажном песке — смотрел на восток, где над горизонтом разгоралась узкая золотая полоса рассвета. Услышал её шаги, обернулся — и не удивился, как будто тоже знал, что она придёт.

— Не спится? — спросила Милана, вставая рядом.

— Думаю, — сказал он.

— О чём?

Он помолчал.

— О том, что послезавтра я возвращаюсь к службе, — сказал он наконец. — Тренировки, совещания, подготовка к следующей кампании. Всё то, из чего состоит моя жизнь. — Он повернулся к ней. — И о том, что эти дни были другими.

— Другими?

— Моими, — сказал он после долгой паузы. — Не службой, не долгом, не пророчеством. Просто — днями, которые принадлежали мне.

Нил тёк перед ними — медленный, тёмный, с первыми отблесками рассвета на воде. Ибисы просыпались в тростнике. Где-то на другом берегу лаяла собака.

— Хоремхеб, — сказала Милана тихо.

— Да?

— Я хочу спросить тебя кое-что. И хочу честный ответ,

без дипломатии и без военной сдержанности.

Он повернулся к ней полностью — внимательный, открытый.

— Спрашивай.

— Ты веришь в меня? — сказала она. — Не в жрицу, не в пророчество. В меня — Милану. В то, что я настоящая?

Хоремхем смотрел на неё долго — дольше, чем требовалось для простого ответа.

— Я видел твой страх в первые дни, — сказал он наконец. — Видел, как ты учишься языку, который уже знаешь, просто не помнишь об этом. Видел, как ты стоишь перед Аменхотепом без дрожи в голосе, хотя дрожь есть — просто внутри, там, где он не видит. Видел, как ты слушаешь меня ночью и не ищешь слов утешения, а просто — остаёшься рядом. — Он сделал шаг к ней. — Ты — лучшее, что было в моей жизни.

Голос его был тихим — но в этой тишине было больше, чем в любых торжественных заявлениях.

Милана почувствовала, как что-то внутри, долго державшееся на натянутой струне ожидания и неопределённости, наконец — не лопнуло, а тихо и мягко отпустило.

— Ты тоже, — сказала она. — Для меня — тоже.

Он взял её руку — просто взял, как она брала его в ночь после возвращения с войны, — и они стояли у Нила, плечом к плечу, глядя на то, как рассвет медленно захватывает небо.

Золотая полоса на горизонте расширялась, розовела, пе-

реходила в оранжевое.

Птицы пели.

Вода текла.

А потом Милана почувствовала тепло.

Не утреннее солнце — оно ещё едва коснулось горизонта. Тепло шло изнутри, из-под ткани платья, с груди.

Скарабей.

Она опустила руку и прижала ладонь к амулету.

Он был горячим — не так, как в момент перехода, когда тепло было оглушительным и всеобъемлющим. По-другому. Настойчивее. Как часы, которые начинают тикать громче, когда время подходит к концу.

Милана замерла.

Хоремхеб почувствовал, как она остановилась — обернулся, посмотрел на её лицо.

— Что случилось?

Милана медленно убрала руку от амулета.

— Ничего, — сказала она.

Это была неправда — и они оба это знали.

Но рассвет только начинался, и Нил тѣк так же спокойно, как тѣк тысячи лет до этого утра, и его рука держала её руку, и прямо сейчас этого было достаточно, чтобы не думать о том, что скарабей подаёт первый сигнал.

Первый из многих.

Время утекало, как вода.

Глава 16

«То, о чём жрецы молчали три поколения»



Небвер пришёл к ней на следующее утро — один, без жриц и помощников, с небольшим свитком в руках и тем вы-

ражением лица, которое Милана за несколько недель научилась читать безошибочно: так он выглядел, когда нёс что-то важное и тяжёлое одновременно.

— Мне нужно тебе кое-что сказать, — произнёс он без предисловий.

— Садись, — сказала Милана.

Он сел. Положил свиток на колени, но не разворачивал — просто держал, как держат вещь, к которой готовились долго и которую всё равно не знают, как начать.

— Ты чувствовала скарабея вчера ночью, — сказал он.

Милана посмотрела на него.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я ждал этого, — сказал он просто. — Знал, что это случится. И знал, что когда это случится — придёт время говорить тебе то, что я откладывал с момента твоего появления.

— Небвер, — сказала Милана медленно. — Ты скрывал от меня часть пророчества?

Жрец не отвёл взгляд — в этом была его честность, которую Милана уважала.

— Да, — сказал он. — Скрывал. Не из злого умысла — из осторожности. Хотел, чтобы ты сначала укоренилась здесь, поняла своё место, прошла испытание. Полное пророчество, сказанное сразу, могло тебя сломать раньше, чем ты успела стать собой в этом мире.

— А теперь?

— Теперь ты стала, — сказал он тихо. — И откладывать больше нельзя. Скарабей начал подавать сигнал — значит, ты должна знать.

Он развернул свиток.

Папирус был старым — края потемнели, кое-где проступали трещины, иероглифы выцвели до едва различимого коричневого. Небвер держал его бережно, как держат вещи, которым нет замены.

— Я прочту тебе то, чего не читал в первый раз, — сказал он. — Ту часть, что следует после слов о равновесии между мирами.

Милана кивнула. Руки она сложила на коленях — спокойно, как ей казалось, хотя пальцы были сплетены слишком крепко.

Небвер прочёл на древнеегипетском — медленно, чётко, давая каждому слову прозвучать полностью:

— «Жрица, пришедшая из воды, совершит выбор, который не может быть отменён и не может быть разделён с другим. Если она останется — равновесие между мирами будет восстановлено навсегда, и дверь закроется, и тот мир, из которого она пришла, забудет о ней — как забывает река о капле, вернувшейся в море. Если она уйдёт — дверь закроется тоже, но равновесие потребует другую цену, которую заплатит не она, а тот, кто был соединён с ней нитью, старше памяти. И в обоих случаях — дверь закрывается. Выбор только в том, кто платит цену».

Тишина.

Небвер свернул свиток.

Милана сидела неподвижно — не потому что выглядела спокойной, а потому что слишком много всего навалилось разом, и тело просто перестало двигаться, пока разум пытался переварить услышанное.

— Объясни мне, — сказала она наконец, и голос вышел ровнее, чем она ожидала. — Без иносказаний. Что значит «забудет о ней»?

— Если ты останешься здесь навсегда, — сказал Небвер тихо, — твой мир продолжится без тебя. Но не просто без тебя — он закроется для тебя полностью. Те, кого ты знала, будут жить дальше, не чувствуя пустоты. Твоя подруга встретит кого-то, займёт чем-то жизнь. Твои ученики получат другого учителя. Мир не будет скучать по тебе — потому что дверь закроется и станет, как будто её не было.

Милана выдохнула медленно.

— А если я уйду?

Небвер помолчал.

— Тогда равновесие нарушится иначе, — сказал он. — Трещина между мирами не закроется полностью — она затянется, но останется слабым местом. И цена за это... — Он остановился.

— Говори, — сказала Милана твёрдо.

— «Тот, кто был соединён с ней нитью, старше памяти», — повторил Небвер слова пророчества. — Это означает то-

го, кто связан с тобой через время. Через оба мира. — Пауза. — Хоремхеб.

Что-то холодное прошло по спине Миланы — медленно, как волна.

— Что с ним будет?

— Пророчество не говорит точно, — сказал Небвер, и в его голосе впервые за всё время появилась настоящая боль. — Оно говорит о цене. Какой именно — неизвестно. Может быть — долгое одиночество. Может быть — бессмертие без покоя. Может быть — что-то третье, чего мы не можем предвидеть.

Тишина была такой плотной, что было слышно, как потрескивает светильник у стены.

— Подожди, — сказала Милана. — Ты говоришь, что если я уйду, цену платит он?

— Да.

— А если останусь — цену плачу я. Своим миром.

— Да.

— И выбора не уйти без последствий для кого-либо — нет.

— Нет, — сказал Небвер тихо. — Равновесие всегда требует цены. Это закон, который старше богов.

Милана встала.

Подошла к окну — механически, просто потому что нужно было куда-то деть руки и ноги, которые вдруг не знали, что делать с собой.

За окном Нил блестел под полуденным солнцем. По берегу шли женщины с кувшинами, дети гонялись за ибисом, лодка скользила по воде с неспешной египетской уверенностью. Мир жил — спокойно, не зная, что здесь, в этой комнате, что-то решается.

— Сколько у меня времени? — спросила она, не оборачиваясь.

— Скарабей подаёт сигналы — значит, дверь начинает открываться, — сказал Небвер. — Когда она откроется полностью — ты почувствуешь. Это будет нельзя не почувствовать. После этого у тебя будет один восход солнца, чтобы принять решение.

— Когда это случится?

— Скоро. Может, несколько дней. Может, две недели. — Он помолчал. — Может, меньше.

Милана прижала ладонь к оконному проёму — камень был тёплым от солнца, шершавым, настоящим.

— Небвер, — сказала она. — Если бы ты был на моём месте — что бы ты выбрал?

Долгая пауза.

— Я не могу ответить на этот вопрос, — сказал он наконец. — Потому что я прожил всю жизнь здесь, в этом времени, и для меня нет другого мира. А ты — ты и там, и здесь одновременно. Это разные весы, и я не знаю, как они устроены внутри тебя.

Милана обернулась.

— Хоремхеб знает? О пророчестве? О полной версии?
Небвер покачал головой.

— Нет. Я не говорил ему.

— Я должна ему сказать.

— Да, — согласился Небвер. — Должна. Это его право —
знать, какой ценой может обернуться твой выбор.

Она нашла его во дворе — он уже вернулся к тренировкам, как и предсказывал лекарь: работал с деревянным мечом, отрабатывая удары левой рукой, пока правая ещё восстанавливалась. Сосредоточенный, точный, в своей стихии — он не заметил её сразу, и она несколько секунд просто смотрела на него.

На то, как он двигается. На то, как держит голову. На то, что она уже знала наизусть — каждый жест, каждую паузу между словами, каждое выражение его лица.

Он опустил меч. Увидел её.

— Что-то случилось? — спросил он, сразу прочитав что-то в её лице.

— Да, — сказала Милана. — Мне нужно тебе кое-что рассказать.

Они ушли в сад — туда, где пруд и пальмы и никого лишнего.

Она рассказала всё. Слова Небвера, слова пророчества, оба варианта, оба последствия. Говорила ровно, без лишних слов — как говорят, когда знают, что слова должны быть точными, потому что от них зависит слишком много.

Хоремхеб слушал, не перебивая.

Когда она замолчала, он долго не говорил ничего. Смотрел на воду пруда, где неподвижно стояли лотосы. Молчание было таким, в котором разворачиваются очень большие мысли — медленно, тяжело, с сопротивлением.

— Значит, если ты уйдёшь, — сказал он наконец, — цена ляжет на меня.

— Да.

— И ты не знаешь, какая именно цена.

— Нет.

— Но ты пришла мне сказать, — произнёс он тихо. — Хотя могла не говорить.

— Это твоя жизнь, — сказала Милана просто. — Ты имеешь право знать.

Он встал. Прошёлся вдоль пруда.

Потом остановился и посмотрел на неё.

— Мне нужно подумать, — сказал он.

— Конечно, — сказала Милана.

— Нет, ты не понимаешь, — сказал он. — Мне не нужно думать о том, хочу ли я, чтобы ты осталась. Это я знаю. — Голос его был ровным, но в этой ровности было всё — и страх, и нежность, и усилие говорить прямо, не ломаясь. — Мне нужно подумать о том, имею ли я право просить тебя остаться. Зная, что это значит для тебя.

Милана смотрела на него.

Скарабей на её груди был тёплым.

— Хоремхеб, — сказала она тихо.

— Да?

— Я ещё не приняла решения.

— Я знаю.

— Но я хочу, чтобы ты знал одно, — сказала она. — Что бы я ни выбрала — это будет мой выбор. Не пророчества. Не богов. Мой. И я не позволю тебе нести за него вину — ни в ту, ни в другую сторону.

Он задержал на ней взгляд — долгий, сосредоточенный, будто хотел навсегда сохранить этот миг в памяти.

— Ты удивительная, — сказал он наконец.

— Я учительница из другого времени, которая застряла в Древнем Египте и до сих пор не научилась нормально держать сistr, — сказала Милана.

Уголок его рта дрогнул — едва заметно.

— Это не противоречит первому, — сказал он.

Ночью Милана лежала без сна и смотрела в потолок.

Два варианта. Два мира. Две цены.

Остаться — и потерять Соню, учеников, квартиру с конспектами на столе, запах кофе по утрам, снег зимой, всё то, из чего состояла её жизнь там.

Уйти — и отдать неизвестную цену ему. Тому, кто держал её руку у Нила на рассвете и говорил голосом, в котором не было ничего, кроме правды.

Она произнесла мантру — тихо, в темноту:

Я — вода, которая не боится реки. Я — пламя, которое

не боится тьмы. Смерть — не конец пути, а смена берега.
Слова помогали — но не давали ответа.
Скарабей на груди был тёплым.
Тикали часы, которых здесь не было.

Глава 17

«Когда враг выходит из тени»



Аменхотеп выбрал момент с хирургической точностью.

Не случайно — такие люди не действуют случайно. Он выждал, пока дворец ещё жил послевкусием военной победы, пока фараон был доволен и расположен к торжествам, пока Хoremхeб вернулся с войны героем и казалось, что ничто не

может омрачить этого благополучного момента. Именно тогда — в этой точке максимального благополучия, когда люди теряют бдительность, — он нанёс удар.

Утром, за три дня до великой церемонии в храме Хатхор, в которой Милана должна была совершить главный ритуал пророчества, Небвер прислал за ней срочного гонца.

— Тебя требуют в тронный зал, — сказал молодой жрец, и в его голосе было то напряжение, которое бывает у людей, принёсших новость, которую не хочется приносить. — Немедленно. Сам фараон.

— Что случилось?

— Аменхотеп подал обвинение, — сказал жрец. — Официальное. При свидетелях.

Тронный зал был полон.

Это было первое, что Милана заметила, входя — обычно здесь стояло несколько десятков придворных, но сейчас, казалось, собрался весь двор. Советники, военные, жрецы, слуги высокого ранга — все, у кого было право присутствовать на официальных разбирательствах. Лица обращены к трону, атмосфера плотная, как перед грозой.

Фараон сидел на троне — усталый, с запавшими щеками, но глаза острые, как всегда. Рядом с ним — Небвер, чуть позади, с лицом непроницаемым, как камень. Аменхотеп стоял в центре зала — прямой, торжественный, в лучших своих одеждах, с тяжёлыми золотыми цепями на груди.

Хоремхеба Милана не видела — его не было в той части

зала, куда она посмотрела в первую секунду.

— Дочь Хатхор, — произнёс фараон, когда она заняла место в центре зала, — мой советник Аменхотеп выдвинул обвинение. Ты должна выслушать его и ответить.

— Я слушаю, мой повелитель, — сказала Милана ровно.

Я — вода, которая не боится реки, — произнесла она внутри себя, быстро, почти неосознанно.

Аменхотеп вышел вперёд — неторопливо, с достоинством человека, уверенного в своей позиции.

— Мой повелитель, — начал он, обращаясь к фараону, но говоря так, чтобы слышал весь зал, — я служу Египту всю свою жизнь. Тридцать лет рядом с тронном — и всё это время моей единственной целью было благополучие страны. Поэтому сегодня я говорю то, что говорю — не из личной неприязни, а из долга перед Египтом и перед вами.

Он повернулся к Милане.

— Эта женщина пришла к нам из неизвестности, — сказал он, и голос его был мягким, почти сочувствующим — это было страшнее прямой враждебности. — Мы не знаем её рода, её происхождения, её истинных намерений. Мы знаем только то, что она говорит сама о себе. Мы верим только тому, что нам показывают жрецы Хатхор, у которых есть свой интерес в этом деле.

Пауза — выверенная, театральная.

— Я провёл расследование, — продолжал он. — Тихо, без лишнего шума, как и подобает советнику, заботящемуся о

репутации двора. И я обнаружил свидетелей — людей, которые видели, как эта женщина встречалась тайно с торговцами с севера. С торговцами, которые имеют связи с хеттскими купцами.

Зал зашептался.

Милана почувствовала, как холод прошёл по спине — не от страха, от ярости. Ярости узнаваемой, той самой, что бывает, когда ложь произносится публично, с видом честности, и у неё нет способа немедленно превратиться в ничто.

— Это ложь, — сказала она. Чётко. Без лишних слов.

Аменхотеп улыбнулся — той улыбкой, которую она ненавидела с первой встречи.

— Разумеется, она это отрицает, — сказал он мягко, обращаясь уже к залу. — Но у меня есть свидетели. Трое. Готовые говорить прямо сейчас, перед лицом фараона.

Свидетели вошли — трое слуг с постными лицами. Говорили складно, не путались в деталях, смотрели в пол с видом людей, которым очень неловко, но они вынуждены говорить правду.

Милана слушала — и понимала, насколько это профессионально сделано. Детали убедительные, время и место встреч указаны точно — не те, где она была, но достаточно правдоподобные, чтобы их нельзя было опровергнуть немедленно. Аменхотеп готовился долго.

Фараон слушал молча. Лицо его ничего не выражало — но Милана видела, как пальцы его сжались на подлокотнике

трона.

Когда последний свидетель замолчал, зал был тих.

— Есть ли у тебя что сказать в ответ? — спросил фараон.

Милана набрала воздух.

— Есть, мой повелитель, — сказала она. — Всё, что сказали эти люди — неправда. Я не встречалась ни с какими торговцами. Я не имею связей с хеттами — я вообще узнала о хеттах только здесь, при дворе, потому что в моём мире это просто название из учебника истории. — Она посмотрела прямо на Аменхотепа. — Я также знаю, что несколько недель назад мне прислали финики с ядом. Медленным — тем, что вызывает спутанность разума и видения. Моего лекаря, который это подтвердит, зовут Рамери, и он служит этому дворцу двадцать лет. — Пауза. — Я не обвиняю никого по имени. Я просто прошу фараона спросить себя: кому выгодно, чтобы жрица Хатхор потеряла разум или доверие двора за три дня до церемонии?

Зал снова зашептался — на этот раз иначе.

Аменхотеп не изменился в лице — только глаза стали чуть острее, чуть холоднее.

— Красивые слова, — сказал он спокойно. — Но слова против слов. У меня — трое свидетелей. У неё — обвинение без доказательств.

— У неё есть я.

Голос прозвучал от входа в зал — ровный, негромкий, но в тишине зал он прошёл от стены до стены без усилия.

Хоремхеб стоял у дверей.

Он вошёл в зал — прямо, без спешки, в воинском облачении, ещё с той дороги утренних тренировок, без церемониального одеяния. Это само по себе было заявлением: он не готовился к этому выступлению, он не рядился в официальные одежды — он пришёл как есть, просто человек, у которого есть что сказать.

Зал расступился.

Аменхотеп смотрел на него — и впервые за всё время Милана увидела в его глазах не расчёт, а настоящую настороженность.

Хоремхеб встал рядом с Миланой — не за ней, именно рядом — и обратился к фараону:

— Мой повелитель и отец. Я был на севере, пока здесь плелись эти нити. Но я знаю эту женщину. — Он говорил спокойно, без пафоса. — Я видел, как она входила в святилище, откуда не выходят чужие. Я видел, как она стояла перед Аменхотепом на первом пиру и не согнулась. Я видел, как она ухаживала за ранеными воинами в дни после похода — не потому что это её долг жрицы, а потому что не умеет иначе. — Пауза. — Эта женщина не шпион. Те, кто говорит иначе, либо ошибаются, либо лгут сознательно. И я готов отвечать за эти слова перед кем угодно.

Тишина была такой, что было слышно, как потрескивают факелы.

Аменхотеп медленно повернулся к нему.

— Сын фараона защищает чужестранку, — произнёс он тихо, почти задумчиво — и в этой задумчивости было предупреждение. — Это... необычно. Двор заметит.

— Двор пусть замечает что хочет, — сказал Хоремхеб ровно. — Я говорю правду — это моё право и моя обязанность перед отцом и фараоном. Если у советника есть возражения — пусть скажет прямо, без намёков.

Аменхотеп смотрел на него секунду — долгую, расчётливую — и улыбнулся.

— Никаких возражений, — сказал он. — Я лишь выполнял свой долг.

Он поклонился фараону и отступил.

Фараон молчал долго.

Потом произнёс — устало, с тем весом в голосе, который бывает у людей, слишком долго видевших слишком много:

— Обвинение требует проверки. Свидетелей допросит мой личный судья — отдельно, без советника. — Он посмотрел на Аменхотепа. — Если показания совпадут — разговор продолжим. Если нет — разговор будет другим. — Взгляд переместился на Милану. — До церемонии ты остаёшься в храме под защитой жрецов. — И наконец — на Хоремхеба: — Со мной после.

Это был не приказ — это было приглашение к разговору, который будет трудным.

Хоремхеб кивнул.

Они столкнулись в коридоре — Милана и Хоремхеб, пока

придворные ещё расходились по залу.

— Ты рискнул, — сказала она тихо.

— Я сказал правду, — ответил он.

— Это одно и то же при таком дворе, — сказала Милана.

— И ты это знаешь.

Он посмотрел на неё — прямо, без уклонения.

— Мне всё равно, — сказал он просто. — Я не умею стоять в стороне, когда говорят ложь о человеке, которого... — он остановился на секунду, — которому я доверяю.

Милана поняла, что слово, которое он чуть не сказал, было другим. Не доверяю.

— Аменхотеп не остановится, — сказала она.

— Знаю.

— Теперь ты у него тоже под ударом.

— Знаю, — повторил он. — Это мой выбор. — Он чуть помолчал. — Как твой выбор — сказать мне про пророчество, хотя могла не говорить.

Они смотрели друг на друга в полутёмном коридоре, и между ними было то молчание, которое говорит больше слов — когда два человека понимают одновременно, что перешли какую-то черту, за которой уже нет дороги назад.

— Иди к отцу, — сказала Милана наконец. — Не заставляй его ждать.

— Вечером приду, — сказал он.

— Приходи.

Он пошёл к тронному залу.

Милана смотрела ему вслед и думала о том, что человек, только что рискнувший положением и расположением отца ради правды о ней, не заслуживает расплачиваться за её выбор.

Ни одним из двух возможных способов.

Скарабей на груди был горячим.

Время утекало.

И выбор становился ближе с каждым часом.

Глава 18

"Равновесие"



Три дня до церемонии прошли в приготовлениях.

Храм преображался — жрицы украшали колонны гирляндами из лотоса и папируса, меняли светильники на праздничные, с душистым маслом из кедра и мирры, расстилали новые льняные покрывала у алтаря. Запах ладана сделался

таким густым, что Милана чувствовала его даже в своих по-
коях, когда закрывала окно.

Небвер готовил её к ритуалу каждый день — подробно, терпеливо, по несколько раз.

— Ты войдёшь первой, — объяснял он, разворачивая свиток с планом церемонии. — Жрицы идут за тобой в два ряда. Ты несёшь сistr в правой руке, сосуд с водой Нила в левой. У алтаря остановишься, поднимешь сосуд — и прочтёшь текст. Я буду стоять рядом.

— Какой текст?

— Вот этот. — Он указал на строки иероглифов, которые Милана уже умела читать, пусть и медленно. — Прочтёшь трижды. После третьего раза — выльешь воду на алтарь. Всё.

— И это закроет трещину?

— Да, — сказал Небвер. — Если ты готова. Если ты здесь — по-настоящему, не телом только, а всем, что ты есть. Ритуал чувствует, кто его совершает. Пустые слова он не принимает.

— А если не примет?

— Тогда ничего не произойдёт, — сказал Небвер просто. — Просто ничего. Трещина останется незакрытой.

— И пророчество не исполнится.

— И пророчество не исполнится.

Они помолчали.

— А если я ещё не приняла решение — остаться или уйти? — спросила Милана.

— Ритуал этого не требует, — сказал Небвер. — Он требует присутствия и правды. Решение о выборе — отдельно. После.

Это было странное и одновременно точное разграничение: сначала сделай то, что должна сделать, а потом — выбирай. Милана подумала, что в её прежней жизни так не бывало почти никогда: там сначала надо было решить, а потом делать. Здесь было иначе.

Накануне церемонии не спал никто.

Мерит провела с Миланой весь вечер — помогала одеться в ритуальные одежды, которые были тяжелее и богаче обычных: белый лён с золотой вышивкой, тяжёлый воротник с бирюзой и сердоликом, браслеты выше локтя. Волосы убрала высоко, закрепила золотой заколкой в форме лотоса.

Милана смотрела в бронзовое зеркало и не узнавала себя — или, наоборот, узнавала слишком хорошо.

— Ты боишься? — спросила Мерит, поправляя заколку.

— Да, — честно сказала Милана.

— Это хорошо, — сказала Мерит. — Те, кто не боится перед ритуалом — либо не понимают, что делают, либо им всё равно. А тебе не всё равно.

— Мерит, — сказала Милана.

— Да?

— Ты хорошая подруга. Я хочу, чтобы ты это знала.

Мерит замолчала на секунду — неожиданно, как молчат люди, которые не привыкли получать простые человеческие

слова, живя в мире церемоний и иерархий.

— Ты тоже, — сказала она наконец тихо. — Хотя ты странная и держишь сistr ужасно.

— Я исправилась.

— Немного, — согласилась Мерит. И улыбнулась — по-настоящему, без придворной отточенности.

Хоремхеб пришёл поздно ночью.

Ненадолго — просто постучал, вошёл, встал у окна. Смотрел на неё — в ритуальных одеждах, с убранными волосами, с золотом на шее и запястьях.

— Ты выглядишь как с храмовой росписи, — сказал он.

— Именно этого все и добивались, — сказала Милана.

Он подошёл ближе. Взял её руку — посмотрел на браслет, потом на её лицо.

— После церемонии, — сказал он тихо. — Какое бы решение ты ни приняла — скажи мне первому. Прежде Небвера, прежде кого угодно.

— Скажу, — пообещала Милана.

— И ещё, — он помолчал секунду. — Что бы ни случилось там, внутри — помни: я здесь. Снаружи. Буду ждать.

Она кивнула — не доверяя голосу в эту минуту.

Он ушёл, и она долго стояла у окна, глядя на Нил в ночи — тёмный, бесшумный, вечный.

Рассвет наступил тихо и неотвратимо, словно время снова напомнило о себе.

Храм наполнился людьми — жрецы, жрицы, придворные,

которым было позволено присутствовать. Фараон прибыл на носилках — слабый, но живой, с тем же острым взглядом. Рядом с ним, чуть позади, стоял Аменхотеп — с лицом безупречно торжественным и глазами, которые не пропускали ни единой детали.

Хоремхеб стоял у правой колонны — один, без свиты. Когда Милана входила в зал, их взгляды встретились на секунду. Он чуть кивнул. Она — тоже.

Музыка началась.

Систры, арфы, флейты — всё вместе, негромко, как будто не играли, а дышали. Жрицы выстроились в два ряда. Небвер занял место у алтаря.

Милана пошла вперёд.

Шаги по каменным плитам. Запах ладана. Золотые полосы света сверху, где утреннее солнце нашло щели в крыше. Хатхор смотрела с каждой колонны — с той же полуулыбкой, которая за эти недели стала привычной и почти домашней.

Милана думала только о шагах. Правая нога. Левая. Систр в правой руке. Сосуд с водой — в левой, чуть холодный на ощупь, речная вода.

Алтарь приближался.

Она остановилась перед ним — большой плоский камень, отполированный тысячелетиями ритуалов, с небольшим углублением посередине, куда уйдёт вода. На камне — изображение Хатхор, вырезанное так глубоко, что тени в нём жили отдельной жизнью.

Небвер стоял справа — не смотрел на неё, смотрел вперёд, как и положено, но в его присутствии рядом было что-то устойчивое, надёжное, как в присутствии человека, который знает, что делает.

Милана подняла сосуд.

И начала читать.

Текст она знала — за три дня выучила наизусть, до каждого иероглифа, до каждой паузы. Слова выходили ровно, чётко, в правильном ритме.

Первый круг.

Ничего необычного — только слова, и тишина зала, и потрескивание светильников, и Хатхор, смотрящая с колонн.

Второй круг.

Скарабей на груди стал горячим — резко, внезапно, как будто вспыхнул. Милана не остановилась — продолжала читать, чувствуя тепло у сердца, которое нарастало с каждым словом.

А потом — на середине второго круга — что-то изменилось.

Краем зрения она увидела это сначала — лёгкое дрожание воздуха у левой колонны. Как марево над раскалённым песком, только вертикальное. Потом дрожание сделалось плотнее, и сквозь него — как сквозь мутное стекло — начало проступать что-то другое.

Синева.

Вода.

Кораллы.

Милана продолжала читать — усилием воли, потому что слова были обязательны, потому что остановиться нельзя — и видела одновременно два мира, наложенных друг на друга: золото храмовых стен и синеву Красного моря, колонны и кораллы, лица жрецов и далёкие силуэты аквалангистов в толще воды.

Соня.

Она увидела Соню — размытую, нечёткую, как сквозь слой воды, — и на её лице было такое отчаяние, такой страх, что Милана на секунду сбилась с текста — запнулась, потеряла слово.

Небвер тихо подсказал.

Она нашла строку. Продолжила.

Третий круг.

Два мира больше не были размытыми — они стояли рядом, чёткие, одинаково реальные, как две страницы одной книги, раскрытой посередине. Слева — храм, Нил за стеной, запах ладана, Хатхор на камне. Справа — Красное море, рыбы, кораллы, золотой свет из расщелины рифа.

И посередине — она сама.

С сосудом в руках, с текстом на устах, с горящим скарабеем на груди — стоящая точно между двумя мирами, как стоят на мосту, одной ногой на каждом берегу.

Вот оно, — подумала Милана. — Вот что значит трещина между мирами. Вот где я нахожусь на самом деле. Между.

Она прочитала последнее слово третьего круга.

Подняла сосуд над алтарём.

И в этот момент — в ту долю секунды, пока вода ещё не упала на камень — оба мира замерли.

Храм замер. Море замерло. Жрицы, фараон, Аменхотеп — всё застыло, как на рисунке.

Только два человека не замерли.

Хоремхеб — у правой колонны, смотрящий на неё.

И — в синеве того, другого мира, в толще воды — Соня, которая плыла вниз, к расщелине, и её рука тянулась туда, куда уходит золотой свет.

Две руки. Два мира. Два человека, которые ждут.

Скарабей горел.

Вода в сосуде дрожала.

Милана стояла между.

И в этой точке абсолютного равновесия — когда ни один мир не перевешивал другой, когда всё было подвешено на одной нити — она вдруг поняла что-то, чего не понимала раньше.

Пророчество говорило о равновесии. Не о победе одного мира над другим. Равновесие — это не выбор одного берега. Равновесие — это мост.

Я — вода, которая не боится реки, — произнесла она внутри, в последний раз, и слова мантры были не успокоением, а ключом — тем самым, который она искала.

Вода упала на алтарь.

Вспышка — не золотая, не белая — просто свет, без цвета, чистый, как первое утро мира.

И тишина.

Когда свет погас — оба мира исчезли.

Остался один. Храм. Египет. Настоящее.

Но что-то изменилось — тонко, неуловимо, как меняется воздух после грозы. Трещина между мирами — Милана чувствовала это без слов, без объяснений, просто знала, как знают вещи, которые не нуждаются в доказательствах, — затянулась. Не исчезла полностью, но затянулась.

Зал молчал.

Потом Небвер медленно опустился на колени.

За ним — жрицы, одна за другой, бесшумно, как падают лепестки. Потом — придворные. Потом — все.

Все, кроме Аменхотепа, который стоял неподвижно с лицом человека, у которого рухнул тщательно выстроенный план, — и кроме фараона, который не встал с трона, но закрыл глаза на секунду, как закрывают глаза люди, получившие наконец то, чего ждали очень долго.

Милана стояла у алтаря — с пустым сосудом в руках, с горячим скарабеем на груди — и дышала.

Просто дышала.

А потом она подняла глаза — и встретила взгляд Хоремхеба.

Он стоял у колонны — не на коленях, не склонённый. Просто смотрел на неё. Прямо, внимательно, с тем выраже-

нием, которое она уже знала лучше, чем любое другое лицо в этом мире.

Скарабей на её груди — впервые за много дней — стал тихим.

Просто тёплым. Не горящим, не тревожным. Тёплым, как рука человека, которого держишь в своей.

Наступило равновесие.

Глава 19

"Ночь перед выбором"



После церемонии дворец праздновал.

Пир, музыка, вино — всё то, что полагается после великого события, подтверждённого на глазах у всего двора. Фараон был доволен, жрецы сияли, придворные наперебой выражали восхищение — даже те, кто ещё вчера смотрел на

Милану с плохо скрытым скепсисом.

Аменхотеп отсутствовал. Никто не упоминал об этом вслух, но все заметили.

Милана просидела на пиру ровно столько, сколько требовало приличие — улыбалась, принимала поздравления, отвечала на вопросы. Внутри было тихо — не пусто, а именно тихо, как бывает после долгого напряжения, когда оно, наконец, отпускает и остаётся просто пространство.

Пространство, в котором жил один вопрос.

Хоремхеб сидел через несколько мест — она чувствовала его взгляд несколько раз, но каждый раз, когда поднимала глаза, он смотрел в другую сторону. Они не разговаривали весь вечер. Этого не требовалось — они оба знали, что разговор будет. Просто не здесь и не сейчас.

Когда пир начал стихать, Милана поднялась и тихо вышла.

В её покоях было темно — только один светильник на низком столике бросал мягкий неровный свет. Она сняла тяжёлый воротник, браслеты, золотую заколку — и почувствовала себя собой. Не жрицей, не символом пророчества, не фигурой на храмовой росписи. Просто Миланой — усталой, с пустым местом внутри, которое весь день заполняла церемониальная необходимость.

Стук в дверь был тихим — она осознала его раньше, чем слышала.

— Войди, — сказала она.

Хоремхеб вошёл и закрыл за собой дверь.

Снял церемониальный наруч, положил у входа — жест простой, домашний, не дворцовый. Посмотрел на неё — долго, как смотрел у алтаря, когда зал стоял на коленях, а он — нет.

— Как ты? — спросил он.

— Не знаю ещё, — честно сказала Милана. — Спроси завтра.

— Завтра ты должна будешь принять решение.

— Знаю.

Он подошёл ближе — остановился в шаге, не касаясь.

— Я пришёл не для того, чтобы говорить о решении, — сказал он тихо. — Я пришёл сказать тебе кое-что. То, что хотел сказать давно, но всё время находилась какая-то война, или церемония, или заговор, или пророчество.

— Скажи, — сказала Милана.

— Я люблю тебя, — сказал он просто.

Не торжественно. Не с театральным весом. Просто — как говорят очевидную вещь, которую долго откладывали, и вот наконец сказали, и стало немного легче.

Милана смотрела на него.

— Я знаю, что это осложняет твой выбор, — продолжал он, — и я не говорю это для того, чтобы усложнить. Я говорю потому, что ты имеешь право знать. Потому что если ты уйдёшь завтра — а может быть, это правильно, может быть, именно так должно быть, — я хочу, чтобы ты ушла, зная это.

— Хоремхеб, — сказала Милана.

— Да?

— Я тоже тебя люблю, — сказала она. — И я тоже говорю это не для того, чтобы что-то решить. Просто — чтобы ты знал.

Он выдохнул — едва заметно, как выдыхают после долгого задержанного дыхания.

Потом шагнул к ней.

Она сделала шаг навстречу — сама, первая, потому что ждать было уже невозможно.

Его руки нашли её лицо — обе ладони, тёплые, чуть шероховатые, такие знакомые — и он смотрел на неё секунду, совсем близко, с той серьёзностью человека, который понимает, что происходит, и не хочет пропустить ни мгновения.

Поцелуй был другим, чем в ту ночь перед войной.

Тот был прощальным — острым, коротким, пронизанным страхом потери. Этот был другим: медленным, глубоким, с той нежностью, которая накапливается долго и выходит наружу не торопясь, как выходит тепло из нагретого камня после захода солнца.

Милана почувствовала, как напряжение последних недель — церемонии, заговоры, пророчества, выбор, который давит изнутри — начало отступать. Не исчезло — просто отодвинулось. Осталась только эта комната, этот свет, его руки на её лице.

Она обняла его — крепче, чем в прошлый раз, — и по-

чувствовала, как он ответил тем же: одна рука скользнула на её спину, притягивая ближе, вторая запуталась в её волосах.

— Останься сегодня, — прошептала она. — Не говори о завтрашнем дне. Просто — останься.

— Я никуда не уйду, — сказал он так же тихо.

Светильник догорал медленно.

Они лежали рядом — она у него на плече, его рука на её волосах, за окном Нил шумел так же, как шумел тысячи лет, спокойно и без спешки.

— Расскажи мне что-нибудь про свой мир, — попросил он. Голос был тихим, сонным, но не сонливым — просто таким, каким бывает голос у людей, которым хорошо и никуда не надо.

— Что именно?

— Что-нибудь обычное. Не про время, не про историю. Просто — как выглядит твой обычный день там.

Милана подумала.

— Я просыпаюсь от будильника, — сказала она. — Это такая маленькая машинка, которая издаёт ужасный звук в нужное время.

— Зачем?

— Чтобы не проспять работу.

— А сама не можешь проснуться?

— Теоретически могу. Но не хочу. Никто не хочет вставать рано добровольно.

Хоремхеб хмыкнул.

— Я встаю на рассвете без всяких машинок.

— Ты военный, — сказала Милана. — Это не считается.

Вас специально так воспитывают.

— Дальше, — попросил он.

— Дальше я пью кофе, — продолжала она. — Это горький горячий напиток, который помогает соображать. Без него первые полчаса я опасна для окружающих. Потом иду в школу. Дети уже сидят в классе — ну, почти сидят, некоторые висят на партах, один обязательно что-то уронил. Я начинаю урок. Иногда это получается хорошо. Иногда — они смотрят на меня как на препятствие между ними и переменой. Потом — ещё уроки, потом — учительская, потом — домой. Ем что-нибудь, читаю, иногда звоню Соне, она рассказывает что-нибудь смешное, я засыпаю.

— Это звучит... спокойно, — сказал он.

— Иногда скучно, — призналась Милана. — Иногда очень хорошо. — Она помолчала. — Там нет пророчеств и заговоров советников.

— Зато нет Нила, — сказал он.

— Зато нет тебя, — сказала она тихо.

Он прижал её крепче — молча, без слов.

Позже, когда светильник совсем догорел и в комнате остался только лунный свет из окна, она спросила:

— Если бы ты мог выбрать для меня — ты бы выбрал, чтобы я осталась?

Долгое молчание.

— Да, — сказал он наконец. — Эгоистично и несправедливо по отношению к тебе — но да. — Пауза. — Но я не выбираю за тебя. Это не моё право.

— Никто раньше не говорил мне такого, — сказала Милана.

— Чего именно?

— Что хочет — одно. А делает — другое. Из уважения. Большинство людей либо хотят и делают, либо хотят и молчат. А ты — говоришь правду. — Она подняла голову, посмотрела на него в полумраке. — Это редкость. В любом времени.

Он улыбнулся.

— Ты сказала мне то же самое однажды, — напомнил он.

— Значит, мы похожи.

— Значит, похожи.

Она проснулась на рассвете.

Хоремхеб не спал — лежал, смотрел в потолок с тем выражением человека, который думает давно и тихо, стараясь не разбудить.

— Давно не спишь? — спросила она.

— Немного, — сказал он. — Думал.

— О чём?

Он повернул голову, посмотрел на неё.

— О том, что бы я отдал, — сказал он тихо, — за то, чтобы это утро не было последним.

Милана молчала секунду.

— Не проси меня остаться, — сказала она. — Пожалуй-ста. Не потому что я решила уйти. А потому что если ты попросишь — я не смогу думать ни о чём другом, кроме твоей просьбы. А мне нужно думать.

— Хорошо, — сказал он. — Не прошу.

За окном Нил начинал золотеть — первые, едва заметные блики рассвета на тёмной воде. Птицы просыпались в тростнике. Где-то далеко кричал петух.

Милана смотрела на этот рассвет — такой же, как были сотни рассветов до него над этой рекой, и будут тысячи после, — и держала его руку в своей.

Скарабей на груди молчал.

Но она знала — это ненадолго.

Дверь между мирами открывалась.

И где-то внутри, в той глубине, где живут решения, которые принимают не разумом, — что-то уже знало ответ.

Просто ещё не говорило вслух.

Глава 20

«Точка, в которой всё решается»



Это случилось в полдень.

Не на рассвете, как она ожидала, — не в торжественный предраусветный час, не под звёздами, не под пение жриц. Просто в полдень, когда солнце стояло прямо над головой и тени исчезали, прячась под собственными предметами, и

воздух дрожал от жары, и Нил блеснул так нестерпимо, что больно было смотреть.

Милана сидела в саду.

Одна — попросила Мерит не приходить утром, попросила Небвера дать ей время. Они оба поняли. Никто не пришёл.

Хоремхеб ушёл на рассвете — молча, сжав её руку на секунду у двери и отпустив. Не оглянувшись. Она смотрела ему вслед и думала, что это самое трудное в нём — его умение уходить, не ломаясь, не требуя ничего напоследок.

Теперь она сидела у пруда, смотрела на лотосы и пыталась думать.

Получалось плохо.

Мысли ходили по кругу — один и тот же круг, одни и те же слова, одни и те же лица. Соня. Хоремхеб. Тридцать два ученика. Небвер. Мерит. Квартира с конспектами на столе. Нил в ранних утренних лучах. Запах кофе. Запах ладана.

Два мира. Два берега. Одна она.

Скарабей вспыхнул без предупреждения.

Не нарастал постепенно — просто в одну секунду стал таким горячим, что Милана вскрикнула и схватилась за грудь обеими руками. Не обжигающим — а пронизывающим, как будто сквозь металл амулета прошёл ток чего-то большого и древнего, чему нет названия в ни одном языке.

Она встала.

Сад вокруг неё начал меняться.

Не исчезал — именно менялся: тамариск и пальмы оста-

вались на месте, но сквозь них, как сквозь прозрачную ткань, проступало другое. Синева. Вода. Кораллы.

В этот раз — чётче, чем на церемонии. Намного чётче.

Два мира стояли рядом с такой ясностью, что Милана могла видеть оба одновременно — как видят два рисунка, наложенных на просвет. Египетский сад и Красное море. Лотосы и кораллы. Жаркий воздух и холодная вода.

И людей.

В египетском мире — у ворот сада, не входя, просто стоя — Хоремхеб.

Она не звала его. Он пришёл сам — как будто почувствовал, как чувствуют люди, связанные с кем-то нитью, которую не видно, но которая натягивается, когда важно.

Стоял неподвижно. Смотрел на неё.

В его лице не было просьбы — он обещал не просить. Не было страха — он умел прятать страх глубже, чем большинство людей умеют его чувствовать. Было только то, что всегда было в нём с первого дня: прямота и присутствие.

В морском мире — в синеве воды, в нескольких метрах под поверхностью — Соня.

Соня плыла вниз — туда, где светилась расщелина. Рука вытянута вперёд, волосы рыжим облаком вокруг головы, маска на лице. Она что-то кричала — пузыри воздуха вырывались изо рта и поднимались наверх, в свет, — но звука не было. Только лицо, искажённое страхом и решимостью одновременно.

Соня искала её.

Милана смотрела на подругу — на это любимое, смешное, рыжее лицо — и почувствовала, как что-то внутри сжалось так, что стало трудно дышать.

Скарабей горел.

Не больно — но оглушительно. Как будто всё тепло, которое он копил за эти недели, — тепло Нила, тепло храма, тепло его рук — всё это собралось в одну точку и стало светом.

Милана прижала ладонь к амулету.

И в этот момент — в тишине между двумя мирами, в точке где нет ни прошлого, ни будущего, только этот полдень и это решение — она услышала голос.

Не Небвера. Не Хоремхеба. Не Сони.

Тот голос — из святилища, из сна в самолёте, из расщелины рифа.

«Вспомни», — сказал он.

И она вспомнила.

Не картинку — не видение, не образ. Знание. То самое, что хранилось глубже памяти, глубже разума, там, где живут вещи, которые не нужно учить, потому что они всегда были.

Жрица — та, чьё лицо было высечено в камне, та, что вернулась — прожила здесь целую жизнь. Любила. Теряла. Служила Хатхор. Умерла старой, у Нила, держа в руках этот же скарабей.

И перед смертью — выбрала.

Не осталась и не ушла. Выбрала третье — то, что пророче-

ство называло равновесием, но что на самом деле было чем-то проще и сложнее одновременно: она вложила себя в амулет. Не душу — не в том смысле, в котором это понимают сказки. Просто — всё, что знала. Всю любовь, весь страх, всё понимание того, как стоять между мирами, не разрушая ни один.

И амулет три тысячи лет ждал человека, который сможет это принять.

Милану.

Ту, что вернётся.

Она поняла.

Не выбор между мирами — не это было пророчеством. Пророчество было о том, чтобы стать мостом. Не выбрать берег — быть переходом между берегами. Закрыть трещину не ценой одной жизни, а тем, что обе жизни останутся целыми — просто больше не будут пересекаться.

Дверь закроется.

Но не потому что она выбрала один мир и потеряла другой. А потому что она заберёт с собой то, что взяла здесь — и это знание, эта любовь, эта нить — останутся в ней, в живой, не в камне, — и именно это запечатает трещину лучше любого ритуала.

Она пойдёт домой.

Но она унесёт его с собой — не физически, не против законов времени. Унесёт так, как уносят вещи, которые меняют тебя изнутри. Навсегда. Без возможности стать прежней.

И он — она знала это теперь с той же уверенностью, с которой знала мантру, которую никогда не учила, — он не заплатит безымянную цену за её уход. Потому что она уходит не обрывая нить. Она уходит неся её.

Пророчество не требовало жертвы.

Оно требовало понимания.

Милана подняла голову.

Посмотрела на Хоремхеба — через сад, через марево жары, через три тысячи лет, которые уже начинали вставать между ними.

Он смотрел на неё.

И по его лицу — по тому, как изменился его взгляд в эту секунду, — она поняла, что он тоже знает. Не пророчество, не детали — просто знает. Так, как знают вещи, которые чувствуют, а не думают.

Она пошла к нему.

Они встретились у ворот сада.

Стояли близко — так близко, что она видела каждую черту его лица, каждую тень, которую оставили на нём война и бессонные ночи и всё то, что делает человека собой.

— Ты уходишь, — сказал он.

— Да, — сказала она.

Он кивнул — медленно, с той внутренней устойчивостью, которая не была равнодушием, а была чем-то обратным: огромной силой, потраченной на то, чтобы принять.

— Ты будешь в порядке? — спросила она.

— Да, — сказал он. — Не сразу. Но да.

— Аменхотеп?

— Я справлюсь с Аменхотепом, — сказал он спокойно. —

Это моя война. Я умею воевать.

Милана смотрела на него.

— Хоремхеб, — сказала она. — То, что было между нами

— это было настоящим. Самым настоящим, что у меня было.

Я хочу, чтобы ты это знал.

— Я знаю, — сказал он тихо. — И у меня — тоже.

Пауза.

— Ты запомнишь меня? — спросила она — глупо, по-детски, не удержалась.

Он посмотрел на неё долго.

— Я буду помнить тебя каждый день, — сказал он просто.

— До последнего.

Она шагнула к нему — он шагнул навстречу — и они обнялись в последний раз. Крепко, без торопливости, без слов.

Она прижалась лицом к его плечу и дышала — запах его кожи, льна, Нила, тепла египетского полдня — запоминала, складывала внутрь, туда, откуда не берут и не теряют.

Он держал её обеими руками — крепко, как держат вещи, которые не хотят отпускать, но отпускают.

Потом — первым, раньше неё — разжал руки.

Отступил на шаг.

Посмотрел на неё — в последний раз вот так, близко, лицо к лицу.

— Живи хорошо, — сказал он.

— И ты, — сказала она.

Она повернулась к пруду.

Скарабей горел ровным, спокойным светом — не тревожным, не срочным. Просто светом. Как маяк, который всегда знал, куда вести.

Два мира стояли рядом — последний раз.

Слева — сад, колонны храма над стеной, Нил вдали, синее небо без единого облака.

Справа — море. Кораллы. Золотой свет из расщелины. Соня, тянущаяся рукой вниз, и лицо её — растерянное, напуганное.

Милана сжала скарабея в кулаке.

— Я — вода, которая не боится реки, — сказала она вслух. — Я — пламя, которое не боится тьмы. Смерть — не конец пути, а смена берега.

Последний раз — обернулась.

Хоремхеб стоял у ворот сада. Прямой, неподвижный, с открытым лицом.

Она кивнула.

Он кивнул.

Она шагнула в море.

Вспышка была беззвучной.

Не золотой, не белой — просто исчезновение одного мира и появление другого, мгновенное, как смена кадра. Сад. И море. И больше никакого сада.

Только вода вокруг — тёмно-синяя, прозрачная. Кораллы. Рыбы. Золотой свет внизу, угасающий — медленно, как угасает костёр после того, как сделал своё дело.

И Соня — в двух метрах — которая обернулась на движение воды и увидела её.

Глаза Сони за стеклом маски расширились.

Потом она бросилась к Милане — схватила за руку, потянула наверх, к свету, к поверхности, к воздуху — и Милана не сопротивлялась, плыла рядом, вверх, вверх, вверх.

Они вынырнули.

Воздух ударил в лёгкие.

— Мила! — закричала Соня, сорвав маску. — Мила, ты — я думала — ты где была — сколько прошло —

— Всё хорошо, — сказала Милана.

Голос был хрипловатым. Глаза щипало — от соли, от света, от чего-то другого, чему не было точного названия.

— Тебя не было двадцать минут! — кричала Соня. — Карим уже нырял, мы все!!!

— Соня, — сказала Милана тихо.

— Что?

— Я расскажу тебе всё. Потом. — Она обернулась — туда, где уже не было ничего, кроме синевы Красного моря, спокойной и блестящей под египетским полуденным солнцем. — Сейчас просто дай мне секунду.

Соня замолчала.

Смотрела на неё — на её лицо, мокрое, с дорожками, ко-

которые могли быть морской водой и могли быть чем-то другим — и всё поняла без слов. Или почти всё. Достаточно.

Взяла её за руку.

Молча.

Милана смотрела на воду.

Где-то там, на дне — в расщелине, в нише, которую уже нельзя найти, — лежал золотой скарабей. Пустой теперь. Выполнивший то, для чего был создан три тысячи лет назад.

Голубой скарабей — маленький, старый, подаренный торговцем — был у неё в кулаке. Она сжала его крепко.

Ты настоящая, — сказал он когда-то.

— Да, — прошептала она в море. — Я настоящая.

Море ответило волной — тихой, тёплой, как прикосновение ладони.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.